

№ 1626 К

ИВОАЛЛ

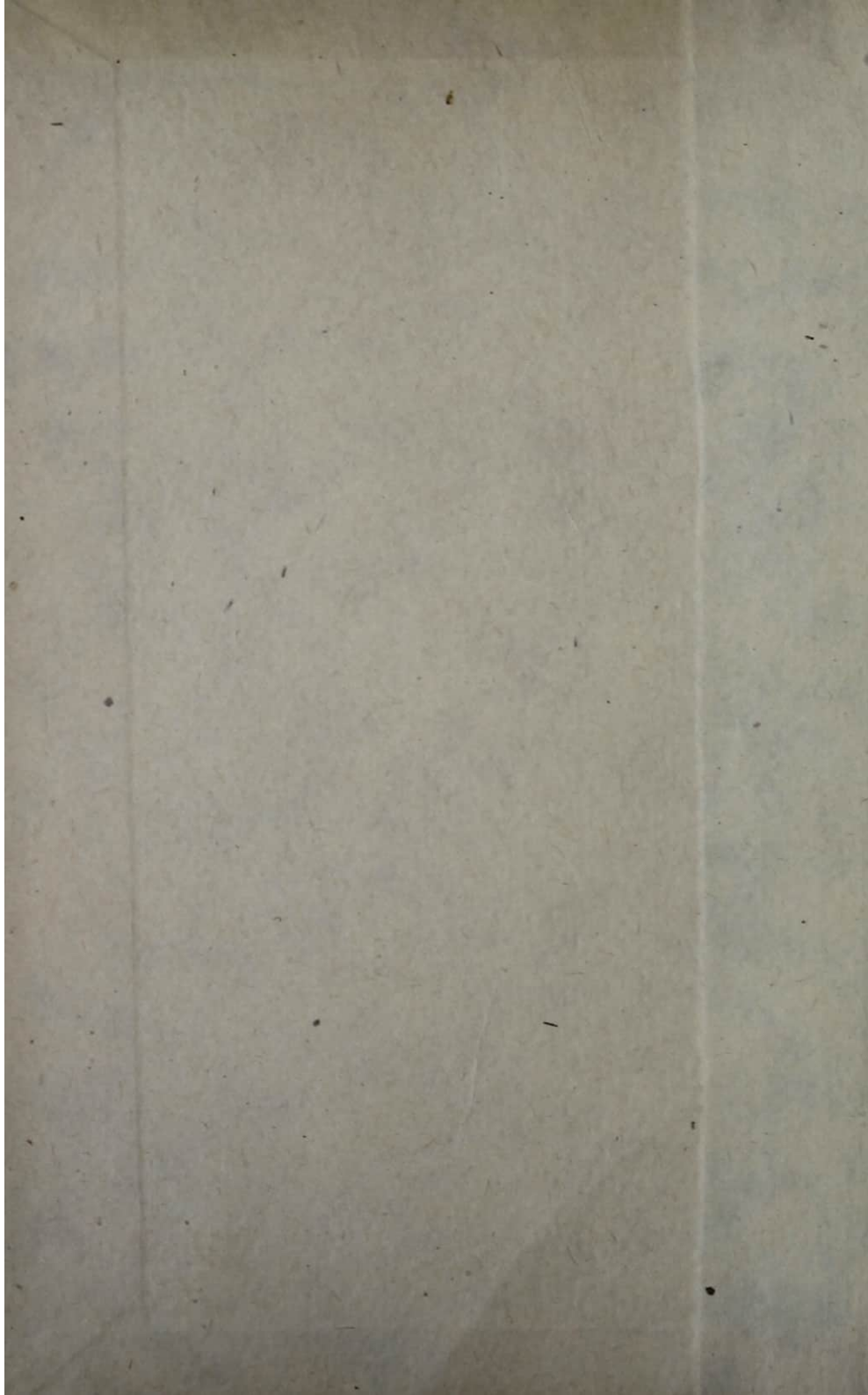
# РЕЙД

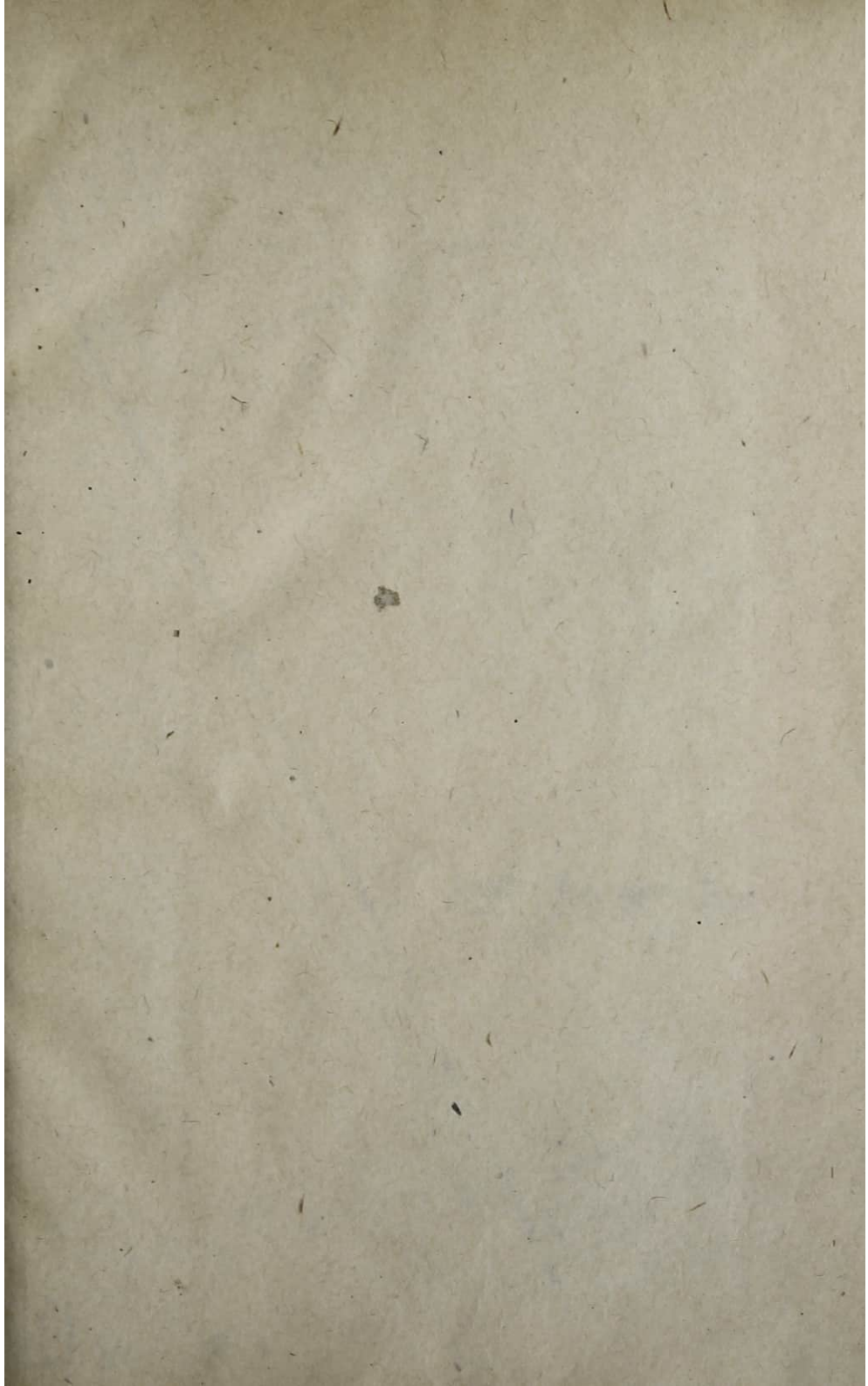
ПЕРВЫЙ

№-1626 К

Литер. Осл. Научн. Библ.

Отдел Красной





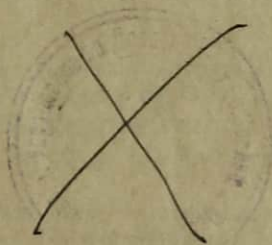


# РЕЙД

П Е Р В Ы Й

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

С Б О Р Н И К



№-1626

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Ивановская Обл. Научн. Библ.

Отдел Краевой

2010

1932

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИВАНОВСКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ  
ОБЛАСТИ

1941

94

*Редколлегия сборника:*  
В. ПОЛТОРАЦКИЙ  
М. ШОШИН  
П. БЕКШАНСКИЙ  
А. БЛАГОВ  
Е. КУЗНЕЦОВА

*Иваново-Вознесенск  
типография  
„Красный Октябрь“  
Исполграфтреста*

Степану Михайловичу  
Захарко  
посвящаю

## 1. 21-я съехалась

— Приедут ...

— Скоро приедут, — сообщала веселая молодежь.

— Вот и опять скоро приедут, — украдкой вздыхая, говорили пожилые. — Шуму привезут.

Шум был не в обычае городка, где скамейки интимных углов, истерзанные перочинными ножами гимназистов, пятнадцать лет назад, хранили тайну любимых имен, чиновники совучреждений пили чай со свежими сплетнями, и босоногие девочки на углу улицы III Интернационала продавали белые астры...

А за Лыбедью был рабфак.

Рабфак, — вот это да!

Было когда-то тихое епархиальное училище отгорожено от города худосочной речонкой Лыбедью, но „епархиалку“ списали в архив, а архив вероятно сожгли в восемнадцатом году.

И стал за Лыбедью факультет гусевских, ковровских, кольчугинских рабочих ребят.

Рабфак — детище Октября, — так написано на знамени, и знамя шумит малиновым бархатом, когда рабфак выходит на демонстрацию.

И он ощутим — рабфак.

Он чувствуется на общегородских партийно-комсомольских собраниях, на конференциях пролетстуда, в рабочем клубе железнодорожников... Осенью или ранней весной, когда улица становится теплой и ласковой, за Лыбедью в синие вечера вспыхивает песня и сгорает в шутках, суетне и смехе. Или еще: люди, только-что занятые сложнейшей диалектикой тюрем, разбивавшиеся в психологии Даши, жены Глеба Чумалова, по „Цементу“, или анализирующие закон трудовых затрат, шли на окраину города, на железнодорожную станцию разгружать эшелоны зерна — ликвидировать „пробку“... Это был не Владимир. И поэтому рабфак был ощутим.

Частенько заведующий — Степан Захарович Кованько говаривал:

— Рабфак — это комбинированная машина. Человеческое сырье, которое поступает к нам, далеко не однородно и по своим знаниям и по общему развитию. Ребят объединяет одно — жажда учебы, и на основе этого мы сколачиваем крепчайший коллектив.

А потом ячейка, исполбюро, профкомы — все это рабфак, все это не то, чем жил и дышал гемморойный Владимир.

И была в рабфаке „Двадцать первая“.

„Двадцать первая“ — особенная...

Так повелось, что угловую, двадцать первую комнату забирала ребята те, что до рабфака на комсомольской работе колоутились. Не все, понятно, но основное ядро — да. А возле подбирались со всячинкой, но ребятки подходящие — не „подмочат“.

И на этот год подобрались в двадцать первую с третьего курса. Готовились зимовать вместе шесть человек.

И про шесть человек ничего не скажешь. Скажешь: вот это да!

Но братва еще отгуливала последние деньки каникул по родным улочкам... Еще слонялся по Туле-городу Леня Тендер. Еще работали на заводике Митька Поздняев с Колькой Максимовым. Еще пропадал где-то Мотечка. И от Владимира Алексеевича ни слуху, ни духу не было..

Один ходил по комнате Степан Калязин и шаги печатал крупно, размахивая руками тонкими, высокий, сутулый..

Над смуглым лицом брови раскинулись как крылья птичьи, и под бровями горячие черные глаза и татарские скулы.

Нет хуже ждать да догонять..

Приехал Степан раньше всех и мыкается из угла в угол.

— Скучно! Скорей бы съезжались..

Вот этой осенью, в конце августа, когда плодоносные дни закачались крепкими яблонями, съехалась Двадцать первая.

Эх, и встречу устроили!.. Даже оркестр по этому случаю был — гитара с балалайкой..

Владимир Алексеич пивка прихватил. Ну и пошли разговорчики — кто где был да чем дышалось летичко.

Оно верно, — нельзя, но для встречи — можно.

Тендер Леня, Тендером потому звали, что помощником машиниста до рабфака был, а он вовсе и не похож на тендер-то. Тендер громоздкий да черный, а Леня и ростиком так себе и прилизан, подчищен. Так вот, Тендер Леня насчет Тулы гнул:

— Эх, и девочки в Туле!.. Ах, что за девочки, чуть-чуть не женился. На липочке висел..

— Кому чего, а вшивому баня, — комментировал Владимир Алексеевич Курлов! — Леня Тендер все про баб. Эх, ты — флексия паровозная..

— А публика в Туле!.. Пу-у-ублика!..

— Валяй! — махал рукой Владимир Алексеевич, — гни! — и не верил ни капельки.

Собственно не верил Тендеру никто, и никто не слушал, потому что каждому хотелось рассказать свое. Кольке Максиму и не нравится трепотня Тендера, его можно бы и оборвать, но не хочется портить встречу пустячной размолвкой.

Ведь все собрались свои. Может и разны кое в чем, а вот в главном — в рабфаке одинаковы.

Не беда, что потрепались за лето: ячейка нажмет, исполбюро подтянет, — и будет один коллектив..

Максимов взглядывает на Дмитрия Поздняева и на лету ловит улыбку, в которой читает: „наплевать, пусть позвонит немного“..

Оно верно — нельзя, но для встречи — можно..



Так осенью 1929 года, в конце августа, когда сады тяжелели антоновкой, собралась двадцать первая комната начать учебный год.

## 2. Дни-будни

Ожили рабфаковские коридоры.

Белые голуби объявлений о расписании уроков, о собраниях, заседаниях академ., эконом., культкомиссий трепыхались вдоль стен.

В лабораториях, в чертежке, в классах деловито и уверенно поблескивал медью калориметр, ласково и властно ложилась на полуватман тушь, шуршал мел о свежескрашенные доски — начали прорабатываться задания. По утрам наполняется ребятней математический кабинет, чтобы по звонку начать рабочий день рабочего факультета.

А за окном из мутного утра встает сентябрь и рябиной торчит целый день, безразлично шевеля красными кистями. Какое дело рябине до рабфаковского дня?

Какое дело!

Совершенно не надо забивать голову логарифмами. Как бы ни был строг преподаватель математики Николай Николаевич, взглянет он на красные кисти, что знаменем осени виснут, и улыбнется.

Не будет он хмуриться, как хмурится, когда „запорет“ какой-нибудь парень „не из той оперы“. Да и зачетной карточки нет у рябины. А у ребят совсем другой коленкор — задания должны быть выполнены, и точка!

А Николай Николаевич хитро прищурит глаз и скажет:

— Ну-ка, вот, одну... „для некурящих“...

И диктует задачу.

Трудны задачи.

Колька Максимов — шея бычья, грудь как колокол, мускулы играют мешки бы на пристани ворочать — пустяки, а тут вот...

— Чорт ее раскусит! Скажет тоже: „для некурящих“ — детская.

Степан Калязин, тот срыву берет. Трет ладонью упрямый лоб:

— Ага... Вот оно. Так. Объем конуса равен... — и карандаш быстро бегаёт по бумаге.

—  $V$  конуса  $= \frac{1}{3} PR^2H$ . Поставим значение. Так...

А Владимир Алексеич „на-шермака“. Зудит над ухом как комар надоедливый.

— Своих, гады, забываете? Дайте списать-то! Степка, не тоши ты меня... Сидел, сидел — ни в зуб ногой!

И вот, листочек с решениями по подстолам, да через руки к Владимиру Алексеичу полетел. Но Николай Николаевич уже вызвал Поздняева к доске, и уже терзается мелом ее чистый глянец.

Трудна задача!

Эх, мало ли что трудным бывает! А легкое-то что?

Решим! Раскусим!

И постепенно вырастают стройные формулы, подыскиваются цифры логарифмов.

— Вот и готова! — говорит Николай Николаевич и спрашивает: — Ну, как?

— Ничего. Солидно.

— „Для некурящих“, — и ухмыльнувшись, прочтет примечание в задачке: „Была предложена в Одесской гимназии на экзамене на аттестат зрелости. Решена одним испытуемым из пяти решавших“.

И доволен. Горд. Что гимназия! Рабфак — вот это да!

Но ведь хитрую ухмылку педагога изучили давно, как давно привыкли к тому, что с точностью хронометра ровно в девять появляется он в дверях кабинета.

Ведь вот говорят, что математика — это „гибкое дело“, „сухота“, а ребятам нравилась математика. Ловили каждую формулу, за каждым значком новые тропы вставали.

Да и то сказать, надо слишком горячо любить свое дело, чтобы делать его так, как вел свой предмет Николай Николаевич.

Другое дело — Прегер Вячеслав Борисович, преподаватель русского языка. С этим приходилось воевать.

Сухой и бесстрастный Прегер обладал громадным ехидством и желчью. Вызовет парня к доске и мучает:

— Забыли? Туповата у вас голова, видимо... Другому бы что ли место уступили...

Парень лет двадцати с лишком стоит, краснеет... Еще бы — неловко.

Как-то Поздняев вздумал в прения с Прегером вступить.

— Вы бы еще раз объяснили, Вячеслав Борисыч, ежели не понимают.

— Уж не желаете ли товарищ Поздняев методистом сделаться, чтоб мы — педагоги по вашим методам занимались? Покорно благодарю.

Так и воевала с Прегером неугомонная двадцать первая комната. Так и текли дни-будни. Были рабфакские будни обычные, и день приходил походим на другой, осенний, серенький, и в сутолоке повседневной неотличим от другого.

Так же копалось в протоколах исполбюро, так же слегка говорил речи Алешин — председатель исполбюро.

Заседали. Говорили в прениях. Вывешивали объявления.

И снова — кабинеты, чертежки, лаборатории.

А когда на деловую сутолоку дня наплывает закатом оранжевый вечер, тогда мягким светом и шорохом оживает комната отдыха. Отдыхают коридоры, и в рабфакском садишке грудится ребятешь.

Эх, ребята! Нет у нас песни. Хорошую бы, настоящую. Голоса молодые, звонкие понесли бы ее над вечером, над домишками „володимирскими“ крохотными, над садами плодовитыми, по дорогам молодости понесли бы ее.

Валька Соколова из 16-й комнаты — главный запевала.

— Чем занималась нынче, Валька? — спрашивает Калязин.

— Физику проработала.

Да, физику. А „физика“ у Валенки все-таки что надо. Пошататься бы! Пожаться бы малость под рябиной-бузиной...

Вечерочек-то уж больно хорош. И то ли оттого, что молодость через край плещет, грудь распирает, а может это вечер такой — синенький да ласковый... незнай отчего, только вот как хочется петь!

— Валяй, начинай!

— Какую?

— Какая на тебя глядит... Крайнюю...

Зазвонит голос высоко-высоко и расплавится песня бойкая:

..Нам с тобой все равно по пути —

Эх, прокати нас,

Петруша, на тракторе

До околя...

И подхватят и оторвут:

...цы нас прокати.

Валька! Да неужто это ты поешь? Золотце самоварное, да знаешь ли ты, как ты поешь-то? Эх, красота!

И долго, долго звенит песнями и шутками вечер. Но постепенно затихает и он. В половине второго гаснут огни, засыпает рабфак, и только дежурный в коридоре, возле маленькой лампочки, шевелит губами, разбирая путаную теорему.

Лампочка мигает, и тени, прыгая по коридору, скачут за угол, а за углом, впритык, свернешь и упруешься — 21-я.

Спят в двадцать первой.

А назавтра проснутся, пойдут в кабинет математики, будут пыхтеть над задачей для „некурящих“ или может быть, зевая, будут слушать скучную лекцию Прегера.

Как бы ни было — завтра начнется обычный, будничный день рабфака.

### 3. 21-я плюс 16-я

У Вальки Соколовой мягкие русые волосы и звонкий песенный голос.

До рабфака работала Валька на текстильной фабрике в Коврове, рабочем городке... Наши девушки таковы, что умеют пронести высокую славную песню, играть звонким задорным голосом в вечеровой теплыне и этим же голосом сказать дельное крепкое слово на собраниях рабочей молодежи.

Наши девушки таковы, что умеют работать в прядильной, в ткацкой, в токарной и в райкоме, в совете, в ячейке...

До рабфака Валька в комсомольской ячейке секретарем работала и в рабфаке — парторгом 16-й девичьей комнаты...

— Дипломатический представитель 16-й комнаты явился, — встретил ее Мотька, когда Валька зашла в 21-ю...

— Брось, Мотечка, выкрутасы! — обрезала Валька.

— Ого-го! Валентина Николаевна не в духе. Тут что-то есть!

— Именно, что-то есть... Ты, Митя, знаешь, какую штуку исполбюро выкинуло? — обращаясь к Поздняеву, продолжала Валька. — Это же форменное бездушие... Головоотяпство...

— А что? — спросил Поздняев.

— Не знаешь? Алешин вызвал Верку и говорит: „Тебе лучше бросить учиться, товарищ Глыбина! Не студентка ты будешь в своем положении... Мое мнение как предисполбюро — бросить тебе учиться!“ А Верке учиться надо... Ну что ж, раз такое дело, — беда не велика... А учиться девахе вот как хочется...

— Ну мало ли что Алешин выдумает, — ответил Поздняев, — партбюро оборвет его, ежели что... А ты, Соколова, не обращай внимания на это...

— Так ведь парторг я или не парторг? В моей комнате девка с „прибылью“ или нет? Меня эти вопросы, товарищи, вот как волнуют... Чай, Глыбина у меня в активе...

Вера Глыбина — с третьего курса.

Бывает так, что приедут в рабфак парень с девушкой холостыми, а там, к концу, сдружатся, сблизятся и по-семейному заживут. И не было тут ничего такого удивительного, когда поженились Верка Глыбина и Панька Дроздов. Но „удивительное“ внес ребенок. Когда у Глыбиной родился ребенок, всем это показалось несовместимым с рабфаковским житьем.

— Нет уж, не студентка теперь Глыбина...

— Ясно! Рабфаковская коммуна — и вдруг ребенок...

— Чай, это не детский дом и не ясли...

— Бросать придется.

Появившийся в коммуналке ребенок внес пересуды и поднял целую бучу.

— Бросать теперь тебе, Верка, придется, — говорили Глыбиной некоторые подруги.

— Бросать! — решили ребята, и среди таких был предисполбюро Алешин.

Но Верке не хотелось бросать. Еще бы! Девке какой-нибудь год остался, а тут все насмарку, и два года упорной, настойчивой работы должны пропасть...

Парторг 16-й — Валька Соколова уговаривала Глыбину:

— Ты душой не будь!.. Не вздумай бросить учебу. Сначала рабфак окончи, а там видно будет. А ребенок... что ж, что ребенок! ходить за ним будут все девчата, что в комнате живут... На то и коммуна.

Поэтому и раскипятилась Соколова, когда узнала, что Алешин как предисполбюро советовал Глыбиной бросить учебу.

— Слушайте, ребята, — предлагала Соколова, — нам надо „стакаться“, 16-я плюс 21-я, да единым фронтом на Алешина поднажать, чтоб он не загибал, куда не надо.

— А чего же тут стакиваться? Дело совершенно ясное, — поддержала 21-я.

— А уж я свою шестнадцатую настрою. У нас-то уж будет единство.

— Значит, ждем, ребята?

— Выждем!..

На заседание исполбюро двадцать первая и шестнадцатая явились в полном составе.

— Вот активность-то растет! — подмигивал Мотька. — Исполбюро должно еще премию Глыбиной выдать за то, что по ее милости на заседание двести с четвертью процентов ходят.

А верно, на заседания исполбюро плохо ребята хаживали. Уж очень вяло проходили они.

И в этот раз на повестке вопросов сорок, и все утверждения да инструкции. Тянули времячко, как слепого нищего за поводок...

— Ну, вот, товарищи, тут нужно будет проголосовать за введение в состав исполбюро нового товарища — Усердова. Товарища Усердова мы используем на культработе, — заявил Алешин, — разрешим этот вопрос и к разному переходим... Возражений нет?

„Разное“ было немного повеселее, поэтому и не возражали. Только Поздняев усумнился насчет „нового товарища“.

Есть люди, про которых говорят: ласковый теля двух маток сосет. Так вот, эта поговорка к Усердову уж очень подходила — присасываться он здорово умел. Поэтому и спросил Поздняев:

— А как ты думаешь, товарищ Алешин, годится Усердов в исполбюро?

— А чего же? Парень хороший. Бедняк, беспартийный актив — вполне подходит, тут и разговаривать нечего. Переходим к разному. Под разным у меня имеется предложение по поводу т. Глыбиной.

И Алешин стал развивать свою теорию насчет трудностей и так далее. Вольнку он затанул надолго, и поэтому нетерпеливая Соколова, парторг 16-й, перебила его вопросом:

— Ты чего накручиваешь-то? Ты прямо говори, нечего огород городить.

— Мое предложение, товарищи, сводится к тому, чтобы предложить товарищу Глыбиной оставить рабфак. Все равно она теперь уже не может учиться нормально...

— Плохое предложение, — перебил Максимов, — никудышное предложение, оппортунистическое.

— Почему? Что значит неверное, раз я его выношу?

— По-твоему, женщине опять путь-дорожка старая? Я тут кашу размазывать не буду, а конкретно предлагаю: у нас есть у исполбюро кое-какие средства из стипендиального фонда, — надо будет Глыбиной повысить стипендию. Как-никак с ребенком расходов больше. А потом она живет в 16-й; шестнадцатая — коммуна, — пусть коммунарки помогут Глыбиной воспитать ребенка.

— Это что же, бесплатное приложение к коммуне будет? — ехидно спросила Гвоздева, староста 42-й девичьей комнаты.

— Это, Гвоздик, наше дело, — обрезали ее коммунарки.

— Я, товарищи, не знаю, насколько это предложение приемлемо... Из рабфака родильный приют сделать предлагаете...

— Брось, Алешин! — перебили его. — Ты подумал бы, что гнешь! Так не годится.

— Дайте мне сказать, — попросил Усердов, но в поднявшемся гомое никто не услышал его голоса, а если и услышали, то не обратили внимания — уж очень он был человек-то незаметный; кого другого может и послушали бы, а Усердова не хотели...

Долго тянулось это заседание исполбюро, и бурное оно было. Однако, 16-я плюс 21-я вышли победителями — предложение Максимова было принято... Алешин был сбит с толку провалом, потому что привык он командовать и не терпел возражений. Но так или иначе ребенок Верки Глыбиной не отнял у своей матери право на учебу.

#### 4. Тендер сражается с исполбюро

В 21-й стали сомневаться насчет „головки“.

Исполбюро, рабфаковское правительство, голова „головки“ — Алешин. Когда выступает Алешин на собрании, то победоносно, как петух, выставляет вперед громадный кадык и, любуясь собой, говорит подолгу, уверенно и не допуская возражений...

Ребята не особенно долголюбивали Алешина, но на председательском месте сел он прочно и удобно, руководя исполбюро и задавая тон.

А исполбюро собиралось, распределяло наряды, дежурства, варилось в мелочах, собирало старостат и крыло инструкциями.

И однажды вечером Тендер начал возмущаться. Возмущался он горячо, размахивая руками, и кричал:

— Да что это за руководство такое? Хватит! Надо насчет перевыборов подумать.

— Собрать братву в большую перемену, — предлагал Каля зин, — обрисовать положение „на ура“ и вставить пропеллер.

— Красиво выйдет! — поддержал Мотька.

— Нет, — возразил Поздняев. — Кляксу посадим. Не годится так. Коммунист? Коммунист. Значит, ставь вопрос на бюро ячейки, там и до оргвыводов дойдут.

— На бюро? Аппаратным путем? Обделался парень на видном месте, а бюро подотрет, чтоб никто не видел? Где же демократия, самокритика?

— Голова! Ты, голова, партизанщину гнешь. Самокритика ж — оружие партии.

Так или иначе, но сомнения родились и взгляды сошлись на одном: исполбюро неработоспособно — надо оживить.

А окрепло решение это после распределения кредита.

Рабфаковский бюджет — паршивый бюджет. На тридцать целковых не расхрабришься. Какое пальтишко, и то надо вкладчину огоревать. ЦРК предоставило для нуждающихся рабфаковцев кредит, а исполбюро под шумок кредит промеж себя разделило.

И пошли по рабфаковским коридорам разговорчики, что, мол, гнет исполбюро не в ту сторону. Не пора ли, мол, отчетец послушать.. Всякие разговорчики пошли.. Иногда в перерыв собирались ребята в комнате отдыха побалагурить, поспорить, поговорить по душам, в открытую...

Разговорчики! Другой раз парень в пузырь лезет, вот-вот лопнет, а вокруг на подначку зубастые разжигают, растрavляют — красота!

— Это не отдых, а извините за выражение... — сказал Тендер, становясь в позу.

Чего-нибудь отмочит Леня, — ожидали ребята, но Тендер нахохлился.

— Кадры! — сказал он и уничтожающе посмотрел вокруг. — Одно слово и притом пустое слово.. Разве так должно жить студенчество?

— Это новое откровение или просто очередной номер? — спросил Мотька, готовый к потехе.

— Нет, я серьезно. Возьми в производстве. Парень зарабатывает сто рублей. Отмахал он восемь часов, и пожалуйста — может и погулять и что хочешь. А нам дают 30 рублей — живи, дыши и не скули. Я ведь расту культурно, у меня появляются запросы. Я хочу пойти в театр, слушать оперу, прилично одеться, а у меня нет полтинника на билет... Тогда мне подносят вечера культкомиссии — заведомую халтуру. Нет, дорогие мои, это...

Он замолчал и безнадежно махнул рукой.

— Скажи еще что-нибудь, — опять вставил Мотька.

— Да, я скажу. Скажу, что... — он обернулся к Поздняеву, который стоял тут же, прислонясь к подоконнику и перелистывая журнал. Поздняев делал вид, что ему вовсе не интересно то, о чем говорит Тендер, что эти песенки, мол, мы слышали. Но внутренне он прислушивался к каждому слову и взвешивал его. А Тендер ораторствовал:

— У меня вот это самое „ди кравати“, — дернул он себя за галстук, почему-то называя его по-немецки, — на тряпку похоже... Студент? Да разве раньше так студенчество жило!

— За галстук заливали, — сказал Мотька. — Дядя каменщиком в Москве работал. Бывало, говорит, идем чуть свет на работу, а они, студенты-то, из пивных возвращаются. Кто, понятно, на извозчике, а другой по тротуару восьмерки пишет и шинель за рукав волочит. Одним словом, — „быстры, как волны“...

Поздняев улыбнулся уголками рта, — дескать, смотри, как жили.

— Ты не улыбайся! Я знаю, чему ты улыбаешься, Поздняев, да не в этом дело. Были и плохие стороны, я ничего не говорю. но так или иначе студенчество жило... молодость кипела, а мы...

— Мы-то — это еще вопрос, дорогой товарищ, — начал Поздняев, отложив журнал, — а вот ты, Ленька, чепухи нагородил. И если бы не знал я, что ты наш парень, рабочий, так ни за что б не поверил. Треплешься ты по барышням здешним, по мешаночкам, да

по горницам, вот и липнет на тебя этакая плесень... Ты про галстук тут разорялся... По-моему, надень дюжину — не беда, кроме смеху ничего не будет. А вот ежели ты с галстуком шею-то такими вот взглядами запутал, это другой разговор.

— А какими взглядами, какими? — не сдавался Тендер.

— Обывательскими! Ты скажи по чести: нарядиться захотел? Да? Чтоб Маруське, да Нинке, да еще там кому-нибудь понравиться?

— Хоть бы и так, — отрезал уязвленный Тендер.

— Во! А теперь скажи: учиться мы приехали или фасон давать, невест выбирать?

— Так не двадцать четыре часа я математику буду долбить! А о моем досуге рабфак заботится?..

— Вот мы ему выговор за идеологическое разложение втяпаем, — вмешался Алешин, — тогда будет знать.

— Валяй два! — закричал Тендер, атакуемый со всех сторон. Он уже почуял, что загнул не туда, загнул так себе, сбухты-баракты, но сдаваться не хотелось, и он, горячась, высказал Алешину обиду и за себя и за других.

— Ты, predisполбюро, выговорами стращаешь, когда правду говорят... Что ты сделал? Чем ты организовал массы? Может помог нам?..

— Ордера на кредит использовать он помог... — поддержал кто-то.

Алешин покраснел и выкатывая глаза заорал:

— Так вот ты о чем? Ладно, мы с тобой в другом месте поговорим... Мы на бюро, товарищ, поговорим с тобой..

— И поговорим! — артачился Тендер. — У нас ведь тоже есть о чем на бюро рассказать.

## 5. Исключить!

С парадного хода в рабфаке широкая лестница, и прямо над лестницей огромный плакат: „Добро пожаловать!“

Добро пожаловать, рабочие ребята, батраки, колхозники, — это вам открываются двери рабфака, это вы — кадры, о которых говорят старики-машинисты, дожидаясь своих инженеров.

Но даже в рабочем факультете есть кое-кто, кому не скажем мы „добро пожаловать“.

Сколько их, прячущихся за подложный документ, за авантюру?..

После громовых раскатов 18, 19-го годов уцелевшие в тараканьих норах полезли сейчас как тараканы, приспособляясь, пристраиваясь, чтоб, будучи выученными на средства нашего класса, снова паразитами сесть ему на шею.

Они активны, лойяльны, тихи...

Когда вызвали Усердова в „мандатку“, он возмутился:

— Что? Я?.. Какой я?..

— Ты не юли... Знаем все.



— Знают ли? — подумал Усердов. — А может на пушку берут?..

— Мы, гражданин Усердов, знаем, как ты...

Был Усердов на втором курсе. Приехал он в рабфак из ветлужской деревни и значился бедняком. Учился хорошо. Уклоны обходил. В драмкружке активность проявил. Алешин выдвинул его в культкомиссию.

— Я его изучил. Парень свой. Беспартийный актив, из деревни...

Усердов с радостью на работу пошел, думал: так-то покрепче будет.

И вдруг такая история...

Ячейка рабфака получила письмо.

А другая ячейка за сотни верст из ветлужской глуши писала о том, что прослышали деревенские коммунисты, что учится сын кулака Усердов в рабфаке.

*„А промежду прочим попал он в этот рабфак таким манером, что шурин его был в председателях и мог всяких документов ему удружить...*

*А теперь как сменили мы комитет и выбрали товарищей из бедноты, то отца этого вышеуказанного гражданина Петра Ильича Усердова прав лишили и раскулачили.*

*А также думаем, что нечего нам кулацких элементов на казенный счет обучать, ежели у нас своих неученых много...*

*...И просим все сообщить.*

*Ново-устиновская ячейка ВКП(б)“*

— Стало быть, Петр Ильич, обманом вы в рабфак-то влезли?

— Я... Да что я?

— Брось вихляться! Видал? — показал Усердову Поздняев письмо.

Точно рухнуло что под Усердовым. Осел он как-то мешком.

— Товарищи!.. Ведь учиться хочется, — заскулил.

— Ты товарищей где хошь ищи, да мы-то тебе не товарищи...

— Ребята!

Но ребята без сожаления, твердо решили:

— Из рабфака исключить и средства, потраченные на содержание его в течение года, взыскать по суду...

А потом „строгали“ Алешина...

— Ты, товарищ Алешин, в мелочах плаваешь, а большие дела промеж пальцев пропускаешь...

— Не годится так!

И на общем собрании отвели Алешина из членов исполбюро, выбрали нового председателя...

Не петушился Алешин, не командовал, и падение его вышло бесславно и просто...

## 6. Большое дело — ячейка!

Рабфак — 519 ребят и девушек — коллектив. Но разве коллектив однороден?

Оно как-будто из одного теста сделанное, да видать на разных дрожжах поднялись ребята-рабфаковцы. Это к тому, что в соседней с 21-й комнате случилась история. Полгода назад у одного паренька — Федьки Скорынина умер отец. Дома осталась мать с ребятишками один одного меньше. На похороны потратились и завывали — туго пришлось. А Федька не деревянный. Защемило. Жалко родных стало, а из стипендии не выкроишь. Покрутился парень и надумал — бросить.

Бросить третий курс. Перед концом.

Занел как-то Скорынин в 21-ю: — бросать, мол, ребята хочу

— Чего бросать?

— Рабфак... Учебу...

— Что ты?!

— Приперло...

И рассказал, как хорошо жизнь ему плечи прихлопнула.

— И по-другому нельзя? И придумать ничего невозможно?

— Чего придумаешь!

— Плохо...

— Один конец... — а на сердце у парня кошки скребут.

Что за дело 21-й, что из какой-то 18-й комнаты парень рабфак бросает. Но двадцать первая целый вечер по этому поводу толковала. Думали ребята, как бы Федькину судьбу перестроить. И Колька Максимов предложил:

— Вот что, ребята! По-моему, тут выход можно изобрести, если мы в получку от стипендии по паре рублей оторвем — для нас это дело маленькое, а вот уже 10 рублей. А если вызвать на это дело еще пару-тройку комнат, то, глядишь, с полсотни и наберем... Федькиной семье подспорье. А потом надо написать в ячейку фабрики, где Федькин отец работал, чтоб и там поддержали...

С предложением согласились. И вызов свой вывесили в коридоре. Отозвались 4 ребячьих комнаты и 1 девичья.

Федька Скорынин остался в рабфаке.

Но как-то сожитель Федьки по комнате — Семен Иванович Шариков ехидненько заметил:

Скорынину счастье привалило, мы его семейку-то кормили... позавидуешь!..

Федька обиделся, за живое задело, и когда в получку стипендии наш казначей Максимов вручал ему деньги, Федька отказался:

— Не надо...

— Что так?..

— Да уж так...

— Брось, Федька, ломаться! Что мы тебе милостинку что ли подаем? Ты на это право имеешь...

Докопались до причины и взяли в работу Шарикова.

Но главное-то о Шарикове. Не особо долюбливают его ребята.

— Ископаемый архиптерикс. — так Володька Курлов именует Семена Ивановича Шарикова.

Леня Тендер тоже свое вставляет:

— догородицын племянник из Тамбова.

Работает Семен Иванович техническим секретарем в ячейке. И стол у него в полном порядке: документик подшит к документу, в уголке номерок каллиграфически выведен.

Доведется что-нибудь подписывать, так Семен Иванович долго прицеливается пером. Делает над бумажкой мысленный росчерк и, наконец, приспособившись, наносит ветвистую с завитушками подпись:

«Технический секретарь ячейки ВКП(б) Шариков».

Потом долго любитесь подписью, наклоняя на бочок кругленькую свою голову. Голова уже начала лысеть, но Семен Иванович тщательно щеточкой заглаживает лысину. И тогда в глазах плавают масло... Глаза у него как две ягодки — черные смородинки. Только в этих ягодках малюсеньких теплится еле приметное лукавство, хитреца.

— Весьма пользительно, — говорит он сам с собой, любуясь подписью.

Семен Иванович не любит собеседников. Другое дело — поговорить с собой. Это гораздо пользительнее, ибо знает крепко Семен Иванович одну русскую пословицу: «Слово не воробей: выпустишь, — не поймашь».

В рабфаке Шарикова прозвали делопутом за то, что любимым занятием Семена Ивановича было переписывание протоколов, подшивание бумажек и вывешивание объявлений. Словом, техническая работа. Давали ему и серьезную самостоятельную работу, но Семен Иванович отнекивался и тянулся к своему излюбленному.

— Делопут изошряется, — шутят ребята.

А Семен Иванович, вчитываясь в подпись, восхищается:

— И до чего крестьянский сын дошел! А?

Около «больших людей» катается Шариков, а дружбы с ними не водит — «Нынче он в ответственных ходит, а завтра по шапке его... кто знает». Спор — упаси боже!... Споров Семен Иванович хуже всего не любит. Наровит к бочку да к сторонке. За все время в рабфаке Семен Иванович ни разу не был уличен в чем-нибудь плохом. Всем был угождателем, со всеми ласков, но душу, как сундучок, железцем обитый для прочности, на замочке держал. Спокойней как-то... Нынче лучшему другу нельзя ничего доверять...



Вмешалась в эту историю ячейка. Ячейка!

Между столовой и комнатой отдыха — маленькая каморка и всегда в каморке сутолока, галдеж, всегда споры, всегда жара.

— В каморке — бюро ячейки партии.

Сюда приходят организаторы кружков, группорги профуполномоченные. Иногда с жалобами на несправедливость исполбюро прихо-

дит парень или исполбюро притащит какого-нибудь коммуниста, который запарится и самочинно устроит шурум-бурум...

И все надо выслушать, разобрать, взвесить и дать прямое и точное направление.

Здесь, в этой маленькой каморке, делаются большие дела...

Сашка Ковальчук, секретарь ячейки, черноватый, медлительный хохол слушает сразу десятерых, и каждому из десятерых надо дать разъяснение... Можно закружиться на месте секретаря, сбиться с толку в этой повседневной горячке, но Ковальчук не сбивается, потому что тогда все эти комиссии, группорги, уполномоченные заковыляли бы каждый по-своему, нарушилась бы увязка, и тогда не чувствовал бы рабфак этой вот комнатухи, что притулилась между столовкой и комнатой отдыха.

Ячейка «строгала» Шарикова.

Ковальчук говорил о замкнутости, об отсутствии настоящего товарищеского отношения.

Шариков прел. Признавал ошибки, хотя внутренне не мало удивлялся — «как же это так? — в моих, мол, собственных деньгах прекают!...».

Ячейка вкатила Шарикову выговор.

На этом же заседании „исповедывали“ Тендера — не всерьез ли, мол, загнул товарищ Казакевич. И решили:

— Общественной работой Казакевич мало занимается. Прикрепите его к ячейке железнодорожников, — пусть еще повертнется в рабочем котле...

Ячейка — большое это дело. Ячейка весь рабфаковский коллектив за собой ведет.

Коллектив...

Не одинаков он. Через стенку с 21-й Шариков живет, на третьем курсе учится, а сравни с любым из 21-й, — сразу увидишь разницу.

Как-то зашел разговор в 21-й, и Степка Калязин, самый горячий из кампании, шархнул:

— Катится Шарик тихонько да плавно... Тихоней. Молчаливым. И вуз окончит. Непременно машиностроительный. Инженером будет. Подохнет на станках, которые при поступлении на завод получит. Так и жизнь пройдет, как у червяка. Не люблю. Ненавижу таких тихонь...

Ошибается Степка. Крепко ошибается. Жизнь в переплав и Семена Ивановича возьмет и обтешет его, обстругает... И Тендера возьмет в оборот. Шелуху считит, и будет парень что надо. Хорошо у поэта сказано:

Возьми меня в переделку  
И двинь, грохоча, вперед!..

## 7. Владимир Алексеевич „не в себе“

Когда на 21-ю наступали осенние сумерки, серые тени плу-тали по углам и монотонное тиканье часов соревновало накрапу дождя о сизые стекла.

Сумерки были перебоем между днем и вечером. В сумерки барахолили. Тендер брал гитару, ронял два-три аккорда и начинал:

Нам суждена-а... една дорога-а-а...

Пусть оборвется песня стру-ун...

Мотька вскакивал на табурет и, изгибаясь, докладывал:

— Почтеннейшая публика! Сейчас мы прослушаем романс идеологического разложения в исполнении артиста Лени Тендера, любимца города Тулы и женской половины города Володимира. Леничка?!

— Бери от жизни много-много...

Иногда Владимир Лексеич потешал рассказами о своих схватках с преподавателями:

— Бесчувственные инфузории, — говорил он, — бронтозавры (была у него страсти награждать окружающих именами, схваченными из биологии), ихтиозавры!.. Не понимают моей пылкой души. Эх, да если бы я сам был педагогом, так бы себе в карточку зачет авансом за весь год записывал...

Барахолили, потому что сумерки были перерывом между рабочим днем и вечером.

Попозже Колька Максимов осаживал Владимира Лексеевича, затыкал рот Тендеру, и 21-я садилась за проработку заданий.



В комнате брэнчала гитара.

— Ах... Стру-ун.. — надрывался Тендер.

Не зажигали еще электричества. Калязин устало валялся на койке, Мотька „созерцал“ туманную фигуру „любимца города Тулы“, одним словом, время текло так себе...

В комнату ввалился Владимир Алексеевич. И от того, как ввалился, стало понятно все...

— Поете? — спросил он.

— Дрова рубим, — ответил Тендер и, ударив по струнам, запел дрожащим от избытка чувств голосом:

— Она казалась елочной игрушкой

В оригинальной шубке из мехов...

Владимир Алексеевич укоризненно покачал головой и начал проповедь:

— Рептилии, инфузории, бактерии в образе Тендера и моллюски в лице Мотечки и вдобавок ты, Степа, все мы — ничтоже-ство...

— Выпил, Лексеевич?

Но Лексеич, не обращая внимания на реплику, продолжал:  
— Мы ничтожество, потому что возводим в идеал сухую колонну логарифмов профессора Глазенапа, перешагивая сразу все ступеньки молодости.

— Ложись спать, — сказал Калязин.

— Ха-ха-ха... Степке стало стыдно слушать правду? Нет, вот сейчас я зажгу свет и буду с тобой говорить. Это ничего, что я не „в себе“.

Он повернул выключатель и все взглянули на героя развертывающихся событий.

А он стоял, широко расставив ноги. На пальто дрожали капельки дождя. Лицо Владимира Алексеевича тоже было мокрое и красное. В мутных глазах застыло тупое бессмыслие и по отвисшей нижней губе стекали тягучие мутные слюни. Когда он был пьян, то на него находила мания ораторства, и как-то по инерции он начинал говорить. Выходило у него, пожалуй, убедительно, но стоило только прервать его, как он уже забывал, о чем говорил, и тогда тупо молчал.

— Игру-ушкой... — пробовал было он подпевать Тендеру, но потом безнадежно махнул рукой.

— Брось, Леня, не выходит. А я в педтехникуме извержение вулкана устроил. Прихожу — там вечер. Не пускают. Я и давай лестницу расчищать...

И подмигнув в пространство, Владимир Алексеевич запел:

Уж ты са-а-аг, да ты мой са-аг,  
Сат зиле-о-онный мой...

— Это что? — спросил Поздняев, вернувшись с бюро ячейки. — Это что за фокусы?

— Это „Ликующий пролетарий“, — ответил Владимир Алексеевич. — „Ликующий пролетарий“, инсценировка В. А. Курлова.

— Ты пьян, Володька?

— Как это ты, Митя, догадался, а? — разыгрывал Лексеич.

— Ты дурака не валяй! — уже закричал Поздняев.

Владимир Алексеевич полез на рожон, но сдался и, посапывая, стал укладываться спать.

Владимир Алексеевич приехал в рабфак вместе с Поздняевым с одного завода и даже из одного цеха. Оба были токарями на ИНЗ. Был Курлов из тех парней, что в работе сметливы, в компании веселы — не подмочат. Как-будто и ничего парень, а вот найдет линия, и пошла писать, заворачивать ворот нараспашку, кепку набок и:

Уж ты са-аг...

Вместе с водкой, с гулянками в получку, с ястребиным навывкат взглядом досталась эта песня от отцов, что водкой заливали жисть-копейку... И вот, когда выходим мы на вольный простор, когда запеваются новые песни, обидно становится за товарищей, что портят дни наши этой бесшабашной гульбой, в которой и старинная русская тоска и молодецкая удаль опоясаны одним поясом...

Обидно было Поздняеву на то, что свой парень „качает“, не выдерживает рабочей линии. „Его, чорта, учиться завод послал, а он бурсу разводит... Прижечь парня надо, да так, чтобы почувствовал...“

— Мы еще поговорим с ним, мы завтра потолкуем.

А утром 21-я судила Владимира Алексеевича.

Помятый и нахохлившийся, сидел он на койке, не глядя на товарищей, и молчал.

— Молчишь? — говорил Поздняев тоном судьи. — Молчишь? Ну, говори по-товарищески, по-добро: отличился? В педтехникуме нашумел? На тебя, голубь, денежки тратят, учат, ждут — строителем новой жизни будешь, а ты...

Нет, разве можно вытерпеть, если вся комната против. Если один Владимир Алексеевич сидит на койке, как на угольях горячих...

— Ты же, Володька, что делаешь? — внушал Мотька. — Ты, в конце-концов чорт с тобой, коли хочешь свиньей быть, но ведь ты комнату, 21-ю, грязью поливаешь... Вот, скажут, актив... передовики какие...

„Строгали“ Володичку основательно, но все же решили шумиху не поднимать и дело закончить.

— Ну, ребята, ни капли больше... понимаешь, обещаю... — с натугой выдавливал Владимир Алексеевич...

Так исчерпался инцидент с нарушением рабфаковской и комнатной установки...

## 8. Первая ударная

В конце первого месяца учебного года, когда учебная часть подытоживала результаты, когда подгонялись „хвосты“, Ковальчук заглянул в 21-ю.

— Ну, как у вас, хлопцы? — спросил он. — Много хвостов?

— Это у нас-то? — удивился Мотька. — Да разве у 21-й бывают хвосты?

— Значит, целиком сдали?

— Нет, — сказал Поздняев, — качает у нас чего-то Володька Курлов.

— А что?

— Да что, понимаешь, физику с химией задолжал... А остальные идут честь-честью.

— Я вот чего, хлопцы, хотел сказать. Чуете, какие Прегер идейки протаскивает, что, мол, пришли от станков пешками... Таких, мол, учить десять лет надо...

— Ну, эти песенки мы слышали, — перебил Поздняев, — а факты за другое говорят. Мало разве рабфаковцев уже вуз монтичили?..

— Это верно, только время теперь такое, что задерживаться ни на день нельзя. Надо показать ударность в работе. По целому ряду предметов мы перевыполнили учебный план, так что, если нажать, то можно рабфак окончить до срока, раньше в вуз попасть.

— А ведь верно, — поддержал Мотыка, — эту штуку вполне можно осуществить... Только вот не все одинаковы... Есть с лендой ребяташки...

— А тут так — создать из выпускных групп бригаду по желанию. Мы на партбюро поддержим. Составят уплотненный учебный план, чтобы кончить до срока.

— Не плохо, — сказал, подумавши, Поздняев. — Это, ей-ей, не плохо. Нам это дело надо обсудить да от имени комнатного коллектива и вынести на собрание курсов.

21-я согласилась с предложением Поздняева. Так впервые в рабфаке зародилась мысль о сокращении сроков обучения.

Собрание выпускных курсов по-разному встретило предложение 21-й об ударной группе. Правда, большая часть уцепилась за это дело, но некоторые ребята встали на дыбы.

— Зачем? Не сумеем кончить! Недоучками выйдем и засядем в вузе.

Особенно ярко выступал Алешин:

— Форсить соревнованием дело не хитрое, — говорил он, — не хитрое дело. Только тут, товарищи, я усматриваю некоторую опасность. Для выскочек это подходяще, а вот для настоящих ребят не подойдет.

— Это как же? — спросил Калязин.

— Так же! У нас есть ребята без подготовки, которым этот темп не по плечу. Возьмите Максимова и ряд других ребят, хотя бы и про себя скажу, — мы не справимся, а оставить их за бортом, махнуть на них рукой будет не по-товарищески.

— Верно! — закричал Владимир Алексеевич, перед которым встала перспектива отсутствия возможностей списывания... — Верно говорит!

— Дай мне сказать, — попросил слова Максимов.

— Давай, говори, — сказал председатель, а Владимир Алексеевич опять крикнул:

— Скажи им, Коля, скажи, куда они загнули, разве так можно...

Максимов посмотрел на него в упор и кивнул головой:

— Я скажу... Да только не то, что ты думаешь, — и уж обратившись к аудитории, продолжал:

— Я, товарищи, пришел в рабфак грузчиком. Подготовки у меня абсолютно не было, однако, товарищ Алешин зря за меня икру метал. Я иду в ударную группу. Иду не „форсить соревнованием“, я знаю, что будет трудно, придется усиленнее заниматься, но я иду работать, и что бы тут ни пророчили кликуши, а мы покажем, что работать нам не привыкать.

— Правильно!

— Фразы!

— Пустозвонство!

— Правильно!!! Создаем ударную...

Еще ругались и спорили, доказывали и соглашались, но перевес был на стороне 21-й и ударную группу решили организо



вать. Записалось в нее 26 человек и в первую голову, конечно, 21-я. Правда не вся целиком, откололся Владимир Алексеевич.

— Валяйте, — махнул он рукой, — кройте, рептилии, а мы исподвольки, торопиться некуда...

Не вступил, конечно, и Алешин и, когда около стола сгрудились новоиспеченные ударники, он подзуживал с ухмылочкой:

— Посмотрим, время покажет, как оно обернется-то... Не было бы рачьего маршрута...

Ударники поручили Поздняеву оформить этот вопрос на президиуме рабфака.

— В лепешку расшибись, а линию выдержи, — наказывали ему.

Поздняев стал расшибаться в лепешку. Сначала пощупал педагогов, как они поглядывают на это дело, и когда заручился поддержкой Николая Николаевича — преподавателя математики, поставил вопрос на заседании президиума.

Президиум рабфака собрался в кабинете Кованько.

А Поздняев докладывал. Шли цифры — расчетливые, сухие... Степан Захарыч слушал внимательно, иногда кивал головой и делал в блок-ноте пометки.

Сбоку сидел Вячеслав Борисович Прегер, зав. учебной частью, — длинный, сухой, с бесстрастными глазами, желтый. Едкие губы (тонкие, потрескавшиеся от сухости, и он поминутно облизывает их языком) плотно сжаты. Лишь изредка они извиваются в усмешечке, и тогда Ковальчук, секретарь партбюро, хмурится, точно чувствует за этими тонкими губами, за этой усмешечкой ядовитый протест...

Поздняев слегка волновался и может от этого, кончив сухие выкладки, расстегнул ворот рубашки и заговорил по-иному, горячо и убедительно:

— Ведь говорит же ЦК партии: „использовать все возможности для быстрой подготовки“... Вот, читаешь „Правду“ и чувствуешь, как бурлят заводы новыми людьми — ударниками, а почему мы?!..

Кованько сидел, уронив голову на ладони. Он уже не слушал. Взвесив и оценив предложение, он думал о другом — о ребятах. Об этом самом Поздняеве, Ковальчуке и о других.

Сорок лет работы серебристым инеем осели на висках Кованько. Сорок лет. И пять из них пройдено вместе с рабфаком. Кованько — коммунист, и тем радостнее старику, что эта большевистская молодежь идет напрямиком по хорошей дороге.

Нет, с такими можно работать, с такими мы...

— Нажмем и вытянем! Силы хватит и бояться тут нечего, — говорил Поздняев.

— Короче, — мотнул головой Прегер.

— Ну, вот и все... Чего же там больше?..

— Разрешите, Степан Захарыч.

— Что разрешить? — не понял Кованько.

— Высказать свое мнение.

— Пожалуй ста.

— Я считаю, — начал Прегер и многозначительно взглянул на Ковальчука, — я считаю, что ничего не выйдет.

Ковальчук старался глядеть в глаза Прегеру, но там было пусто. Тогда он упрямо, выжидающе наклонил голову.

— Эта затея, — продолжал Прегер, — это предприятие не имеет под собой никакой почвы. За последнее время у нас просто мода появилась ударничать во всем и везде. Конечно, конечно, это прекрасно, но...

Он, как бы торжествуя, усмехнулся только губами:

— Но не везде получается нужный эффект. Я достаточно работаю в области народного образования, чтобы со всей ответственностью заявить о невозможности проведения в жизнь этого предложения. Несмотря на внешнюю перегруппировку программного материала в целях его уплотнения — внутренне он останется сырым. Конечно, мы могли бы прочесть материал месячного задания в одну лекцию, но это было бы актом глупости...

„Ишь, куда загибает“, — недовольно подумал Ковальчук, а Степан Захарыч сказал, перебивая Прегера:

— Здесь не стоит вопрос о каком-либо свертывании программы за счет материала... Ведь вы хорошо знаете, что мы имеем на выпускных курсах выполнение программы учебного года на 42 процента, тогда как до конца полугодия у нас еще остается 2 месяца.

— Вы забываете, товарищ Прегер, об одном факторе, стимулирующем наш шаг, — о способности людей соревноваться, — заметил Ковальчук.

— Хотел бы я видеть, как будет соревноваться человек, не имеющий подготовки... Это вам, Ковальчук, не дрова колоть...

„Вот загибает“, — подумал Ковальчук, — „крепко гнет свою линию“ и вслух добавил:

— В чем дело? Давайте, попробуем! Создадим! Плохо подготовятся, так еще на полгода оставим. Вы как думаете, товарищ Кованько?

— Да я думаю, что создадим...

Так из недоверия одних и энтузиазма других родилась первая ударная рабфаковская бригада.

Пусть кривит губы Прегер, пусть язвительно тарахтит Аleshин, — зато жмет 21-я и еще двадцать один человек слесарей, ткачей, батраков, шахтеров, паровозников — завтрашних инженеров.

И никакими улыбочками, никакими подначками не сломать упорства людей, постигающих темпы эпохи!

## 9. Конец „дивной фигурки“

В ноябре распростились с Владимиром Алексеевичем.

Собственно говоря, и раньше страдали Володичку, но он с беспечностью, свойственной ему, отмахивался руками:

— Беллетристика... Ни черта не будет!..

Заниматься Володичка не любил. Наберет книжек, еле донести, разложит по учебным кабинетам, а сам залезет куда-нибудь баклуши бить, анекдоты рассказывать...

— Лексеич! Пошли заниматься, — зовут ребята.

Сделает серьезное лицо Володичка и соглашается:

— Заниматься? Да, заниматься обязательно надо. У меня книжки уж в кабинетах, по Дальтон-плану, самостоятельно занимаются... Приучаю, может что-нибудь и получится.

И на уроках на-шермака проскакивает. Попался как-то физику на зубок, выудил он Володичку к доске.

— Решите, Курлов, задачку по механике: „Два мальчика катаются на качелях...“

Володичка старательно записывал цифры условия.

— „Вычислить центробежную силу и ускорение“...

Рисовал. На блестящей черной доске вырастала настоящая доска русских качелей, травка вокруг столбов, в вышине над перекладной плыли облака. На качелях появились прекрасные мальчики, но центробежная сила не находила еще отражения.

— Ну? — спросил преподаватель, которому видно надоело ждать. — Что вы там рисуете?

— Дивную фигурку.

— А центробежная сила?

— В будущем... В проекте.

Преподаватель посмотрел укоризненно и как бы про себя резюмировал:

— Ну, Курлов, и дивная же вы фигурка!.. Неудовлетворительно.

Таскали Володичку в учебную часть, ребята говорили: „Прижмут тебя, Лексеевич“...

— Не волнуйтесь, — отвечал обычно Володичка, — зато по любимому уроку у меня громадные успехи.

— Что уж это только за урок?

— Большая перемена.

В большую перемену, верно, большие успехи делает Володичка. Соберет вокруг себя ребят и потешает шутками, а те без брусенки катаются.

— По немецкому я хоть сейчас в профессора, — сообщает Володичка, — я пятый падеж открыл.. И скороговоркой перечисляет:

— Номинатив, генетив, датив, аккузатив, презерватив...

— Хо-хо-хо-хо, — покатываются ребята. — Да ведь это из медицины.

— Это просто принципиальные расхождения.

— Пришьют тебя, Володька!.. Приструнят.

— На струны-то кризис нынче.

И все-таки приструнили. Прижали крепко, так что даже сам он растерял я, когда прочитал на стене выписку из протокола президиума об исключении из числа студентов рабочего факультета Курлова Владимира Алексеевича. Не ждал он такого конца.

По правде говоря, был он способный малый, в рабфак пришел с хорошей подготовкой — делать было нечего, на уроках зевал, потом лодырничество в привычку вошло...

Вот и довертелся до ручки. А советской власти нахлебники не нужны. Получаешь стипендию, — значит, заниматься, а нет, — так разговоры разводить не будут, и так говорено не раз было...

— Веселый он парень все-таки, — вспоминал Мотька.

— Веселиться веселись, а дело делай.

Так „отсеялся“ Володичка. Так мог бы отсеяться любой, кто выпал из фокуса целевой устремленности рабфакковского коллектива, потому что не затем создаются ударные бригады, не затем ожидают заводы и поля свои кадры специалистов.

И на место одного отсеявшегося приходят десятки новых — таких, которые не подмочат, не подкачают.

Так и рабфак — вместе с организацией 1-й ударной организованной рабочей подготовительную группу из железнодорожников Владимирского узла.

Заходили в 21-ю „железнячки“, ленины приятели, слушали „душевные“ разговоры о рабфакском житье-бытье, готовились сами стать рабфаковцами...

Занимались ударные группы: одни готовились в вуз, догрызали среднюю математику, кончали физику, сдавали последние чертежи; другие готовились в рабфак, плавали в мудростях простых дробей, путали еще префиксы с суффиксами и „сделать“ писали через „з“...

Но это не беда. К моменту выпуска ударной рабфак получит новую группу ребят с подготовкой вполне достаточной для усвоения курса.

А как усваивается курс?

✓ Вы, протанцовывавшие в вальсах подметки, вы, коптящие лампы над романами Луи Буссенара, знаете ли вы, как проходят вечера? Знаете ли вы, что значит нажимать?

Вечера 21-й стали ударными. Тендерова гитара могла теперь аккомпанировать не более двух арий, и Мотька уже не объявлял о выступлении любимца города Тулы.

Инициатива перешла к Поздняеву, когда он, усмехнувшись уголками рта, предлагал: „Начнем!“

Начинали без проволоочки. Математику брали штурмом. Кто-нибудь один чертил, доказывая теорему, а четыре пары глаз следили за каждым записанным знаком, чтоб предупредить ошибку.

— Те-те-те... Николай Иванович, куда вы загнули? Это не из той оперы. Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон плюс... плюс, товарищ, а не минус...

— Так. Пиши ясно, запятая, что две точки, с новой строчки...

С новой строчки записывалась формула, подставлялись значения, решалась задача

✓ Главное — время. Так мало времени, так мало! Каждую минуту надо взять на учет. Пусть где-то на Зеленой улице вечеринка, играют в моргалки с фантиками и — наплевать!

Требуйте фантов с времени, выигрывайте минуты. В вузе неважно, умеешь ли танцевать. А вот умеешь ли ты логарифмировать — поважнее. Надо научиться, — значит, надо минуты брать на учет и крыть их математикой.

## 10. Считай минуты

„Ночь темна, считай минуты“...

— Чему же равен синус двойного угла?

Русые пряди волос. Абажур на лампочке из испорченного чертежа. Окурки. И за окном бродит декабрьская ночь.

Песня есть такая:

„Ночь тиха, считай минуты“...

Тик-так, тик-так, — считают часы.

А синус двойного угла равен  $2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$ . Это важнее. Это должно прочно улечься в голове.

Половина второго. Ночь. На листе рябит от математических вычислений. Русые волосы и упрямый лоб — это Колька Максимов.

Завтра зачет по математике — зачет должен быть сдан.

Сложные формулы тригонометрических функций трудны. Вот бывало... Бывало это на фабричном дворе. Огромные кипы пресованного хлопка требовали жестких мускулов, широкой спины и цепких рук. Совершенно не нужны были тригонометрические формулы.

Ну, что ж, — был грузчиком! Зато вечером — отдых и девчата. Верно, воротили нос многие — зазорно с грузчиком „гулять“, но на колькину долю хватало.

Хватит. Фабричный двор далеко — ближе тригонометрия, и завтра зачет.

Там, где нет подготовки, — а какая к чорту подготовка у грузчика, — трудно приходится, и упорство большое надо, чтоб сделать премудрости.

Хватит ли у грузчика, русоголового парня Кольки Максимова, смелости до вуза дойти.

Ой, труден путь!

Хватит! И смелости и упорства хватит!

Завтра зачет будет сдан!

А за окном ползет зимняя ночь, принимая пушистый снег.

Абажур не мешает спать соседям по комнате. Заниматься можно еще. Тик-так. Тик-так.

Ночь. Два часа.



Василий Трофимыч! Хорошее не забывается, а с вами, Василий Трофимович Долгих, проведено столько хороших вечеров...

Преподаватель физики Долгих уже не молод. Подбородок блестит седоватой щетиной, а лицо по временам болезненно дергается.

Ничего не поделаешь — контузия, а война не игрушка.

Сколько раз вечерами, когда ваши коллеги отдыхали в семейном кругу, вы возились в физической лаборатории, объясняя ударникам сложные законы оптических явлений. Немного грубоватый говорок с характерным „г“ как какая-то мощная сила действует на психику.

— Калязин, чего вы там городите... с пирометром так не обращаются... Установите так...

— Василий Трофимович, непонятно.

— Ну, чего тебе непонятно?

И объясняет толково, терпеливо и понятно.

Понятно, и пирометр установлен. И техника установки уже плотно засела в голову. Даже тогда, когда подобным пирометром будет Калязин определять температуру мартеновских печей, вспомнит он ударные вечера и физическую лабораторию рабфака и вас физик Долгих... Потому что хорошее не забывается.

И вот, наконец, курсовой совет.

Знаете ли вы, что такое курсовой совет, подытоживающий полный курс рабочего факультета?

Это все. Тут тебе выложат все, что о тебе думают. Припомним, как сдавались задания, взвесят, оценят и скажут:

— Вполне подготовлен для учебы в высшем учебном заведении.

Прегер кривит сухие губы. Но что может Прегер, если один за другим ударники проходят последнюю оценку.

— На Максимове осекутся, — шепчет Алешин на ухо соседу.

— Так-с, — думает Прегер, — сейчас на Максимове убедитесь.

— Максимов, — объявляет он, и на одну сотую секунды каменное лицо его ломает застывшие формы. И снова спокойно, холодно: — Рабочий стаж — 9 лет. Член партии.

Что скажут преподаватели? Разве может грузчик ударным темпом окончить рабфак!

— Удовлетворительно, — говорит математик.

— Удовлетворительно.

— Максимов?... — переспрашивает Долгих и шарит глазами в записной книжке.

„Ага, — зацепочка!“ Прегер улыбается уголками рта. Зацепочка!

— Максимов? Да, у меня Максимов даже весьма удовлетворительно, — сообщает Долгих.

Поняли? Так-то!

— Да, вполне подготовлен для учебы в высшем техническом учебном заведении.

## 11. В вуз

Кружили мятели.

Куралесили ветры.

И зимой в Москве на четвертую полосу „Известий“ поместил выпускающий объявление об январском приеме в вузы и втузы РСФСР.



Вот в этот самый прием ушла 21-я.

Страна моя! Республика!

Рабочие поселки, города, заводы, пристани — вы все, где трудятся рабочие руки и соревнованием эпох полыхают сердца!

Пустыри, на которых сейчас вырастают тракторострой, станкострой, совхозы — страна моя!

Цвести тебе цветом железным и радостью человеческой. И на эту радость, на цветенье страны, идут грузчики, слесари, кочегары, чтобы стать инженерами.

Пока есть рабочие руки, подписывающие декреты в ЦИК РСФСР, пока пылают горны наших заводов, — здесь в общежитиях, кабинетах, лабораториях рабфаков куются по-горячему кадры.

Кадры из 21-й — это капля. Но двадцать первых сотни!..

Ноябрьский пленум ЦК нашей партии сказал свое веское слово.

Слово это должно быть делом, а оно будет, конечно. Ведь борьба за кадры — борьба за социализм.



Да. В этот самый прием ушла 21-я.

Ушел Николай Максимов и Дмитрий Поздняев.

Ушел Тендер.

Ушли Степан и Мотька.

Ушли в вуз.

Тысячелетья канули в болота,  
Лишь торфа родословная жива.  
Не смог клинок текстильных живоглотов  
Могучих залежей пласты освеживать.

В былые годы голод оголтелый,  
Урядника „державная“ рука,  
Обезображенные тощие наделы  
К фабричной каторге сгоняли мужика.

И худосочные вытягивали клячи  
В пургу к шуровкам хворост и дрова...  
И злобные мужицкие слова  
С буранным перепутывались плачем.

Итак... чащоба траурно молчала,  
Закатов плыл остервенелый свет,  
И озирался путник одичалый,  
Как-будто уличенный в воровстве.

Могучим слоем сфангового ила  
Ложбины панцырь вдавлен глубоко.  
И революция постановила  
Раскрепостить энергию веков.



Еще не прочно оседали шпалы  
На свежий грунт, но поезда везли  
В богатый край, встревоженный и талый,  
Металлы, цемент, песенный разлив.

И путь вели неукротимо, прямо.  
Тепло костров, ударного труда.  
Весною срочной телефонограммой  
Впервые прогудели провода.

И не в мятье, ни в ненависти ливней  
Героев класса труд не умолкал...  
Вот котлованы вырыты, легли в них  
Фундаменты машинного полка.

Порою мучались, порой болели люди,  
Но страстью созидательной горя,  
Решили: ток, хотя б разведкой, будет,  
Ток будет к годовщине Октября.



Порой и звонкою и ранней  
Прохладно, и бодрее труд.  
Свежо суровое дыханье  
Локобилия поутру.

Лопаты лезвее отсвечено  
И пот соленый на лице,  
В движеньи руки бесконечном —  
Как элеваторная цепь.

Над головой жары раскаты,  
Жары тяжелое зерно:  
Бригада вагонетки катит,  
Вот поле стилки все черно.

Сегодня здорово „налачен“  
Машины ход, и бригадир  
Ударной хваткой, не иначе,  
Военный темп труда родит.

Не сдать к решающему часу,  
Нажим борьбы.. Хрустит костяк...  
Страна, товарищи по классу  
Ему прорыва не простят.

Когда однажды вагонетчик  
Из силы выбился (затор...),  
Ему он дал работы легче,  
А сам возил тяжелый торф.

Глаза туманило, в тумане  
Порой не видели ни зги,  
Но был всю смену неустанен  
Холщевых спин тугой изгиб...

И если б, кажется, устала  
Бригада вся, упав в крови,  
Упорством — качество металла —  
Он мог бы труд восстановить.

И вдруг (быть может показалось)  
Ленивил ямщик в стороне.  
Навек зашпоренную жалость  
Сменил неудержимый гнев...

„Ты что?.. Себе, бригаде ворог?..“  
Брань укоризны пролилась.  
Презренье выплеснули сорок  
Горячих глаз, жестоких глаз...

■  
Ползут на изломе  
Зари к заре  
Враги,  
И огромен  
Прорыв-зарез.

О том на краю  
Торфяных пустынь  
Сигналы дают  
Телефоны-посты.

Пусть за 24  
Устал, —  
На глухой  
Аварийный свист  
Он бежит  
Проверять магистраль,  
Постовой большевик-коммунист.

— Слушай, стой ты,  
Луны гринель...  
Он в брандспойты  
Не отгремел...

Пусть он сер  
От болотных вод,  
22 атмосферы  
В ход...  
22 атмосферы побед  
Загудели в стальной трубе.

Снова  
Тысячелетний пласт  
Звонобойный  
Брандспойт крушит...  
Может, слышал такой рассказ,  
Мой товарищ,  
О днях больших...

■  
Вот эта дичь, вот эта глушь,  
Восстанье пней в свиный час,  
Здесь был оскал болотных луж —  
Века оставили, промчась...

А рядом: твердый след мотыг.  
Здесь, вырвав пни, прошли ткачи...  
Ах, песня, пой героев ты!..  
Я не молчу — ты не молчи...

■  
Там горизонты рвет гроза  
С упорством тракторного парка.  
Эй, берегись, вот пыли залп!..  
Иначе пыль разъест глаза,  
Иначе пылью будешь харкать...

Но сквозь коричневый самум  
Меня ударники зовут...  
Пусть бьется трактора мотор,  
Штабелевать горячий торф.  
Но карты фрезерных полей...  
Темп революции... Скорей...  
Иначе мокрым будет торф,  
Программы срыв... И в январе  
Нехватит торфа — нам позор...  
Энергоузлу умереть...

И 200 тысяч у машин,  
Чей подорвем могучий труд,  
На время путь запорошим —  
Нас справедливо проклянут...  
И сквозь коричневый самум  
Вперед ударники зовут...  
Эй, кто назад?.. Не смей назад!  
Презренье страшно — не гроза...

■  
В стране ударной и любимой  
Пароль борьбы и лозунг наш:  
„Включайте в труд неустомимо  
Коммунистический вольтаж“...

Отдыхает Меланжевый после трудов.  
 Но ремонт отдыхать  
 Не имеет права —  
 Закаленных зубильев,  
 Ключей, молотков  
 На машины пришла облава.

Дорог час, дорог миг.  
 Нажимай, слесаря!..  
 Наступай на изъяны  
 Ударной бригадой..  
 Где тут лясы точить  
 Да валандаться зря!  
 О своем разговаривай дома,  
 Как надо.

Бригадиру — жара:  
 Нынче в двух этажах  
 Должен он по заданию  
 Машины наладить.  
 Надо так, чтобы дело  
 Горело в руках..  
 Чтобы все, как один,  
 Были стойки в бригаде.  
 Пятьдесят человеческих  
 Крепких сил:  
 Молодежь бородатым  
 Не идет на уступки:  
 Отшлифован металл  
 Под напором пил,  
 И дымится железо  
 От бойкой рубки.

Бригадир,  
 Ты сегодня двоих проглядел —  
 Был ты схвачен работой  
 Как все остальные,  
 А у этих двоих  
 Молоток не гудел,  
 Заменяли его  
 Разговоры шальные.

„Да, гульнули вчера —  
 В голове трескотня..“

А не выпить для праздника  
Было неловко:  
Тары-бары да песни...  
Друзья да родня,  
На столе за литровкой  
Вставала литровка.  
„Убежал бы с работы,  
На все наплевать:  
Знаешь сам, каково  
У тисков без похмелья!  
Да ведь после начнут  
Без конца напевать,  
Как на вора уставят  
Большие „гляделки“.

„Ты с похмелья  
(Беседа в курилке течет).  
Я устал по причине  
Работы домашней:  
Строю новый сарай,  
Быстро ломит плечо...  
Ну и задал мне жару  
Денек вчерашний!

„Поскорей бы шабаш...  
Пусть уж едут на тех,  
Кто везет, точно лошадь,  
Любую поклажу...  
Человеку рабочему выпить не грех:  
Заработайся в доску,  
Спасибо не скажут“.  
Сотню гаек  
Направит пила, пока  
Эти двое смакуют  
Дешевые бредни.  
Не по сердцу им  
Общей работы река,  
Что звенит по цехам  
Все смелей и победней.

Не по сердцу...  
Ну чтож:  
Наше время — пожар.  
На костре наших дней,  
Как солома, сгорают  
И холодная злоба,  
И пьяный угар,  
И большая любовь  
К своему сараю.

Пожалуйста, я возражать не буду:  
И дом это твой и твой огород.  
Рябин и черемух зеленую груду  
Забуду, как только уйду от ворот

Ничтожное сердце ласкают излишки,  
И пляшет хозяйственный в нем азарт;  
Довольно с меня продовольственной книжки,  
Я взгляда не брошу на частный базар.

Своим —  
Сто раз своим — трудом  
Мы нажили просторный дом,  
За ним сарай, еще клетух...  
„Красулька“ ест, поет петух.  
Цыплята четырех пород  
Нахально лезут в огород.  
Они — злодеи и глупцы,  
С землей сравнивают огурцы,  
Петрушку вырвут из гряды...  
Прощайте, кровные труды!  
Разрушен годовой запас —  
Недоглядел хозяйский глаз.

Тебе и нужно бы прилечь,  
Но как забыть родную печь,  
Горшки, ухваты с кочергой,  
Всю прелесть кухни дорогой?

Крепка окраинная глушь.  
Не считаешь мертвых душ.  
Те вяжут сплетни в три узла,  
Другие режутся в „козла“,  
А третьих круче вояких дуг  
Согнул хозяйственный недуг.

Ты тем же сном заражена,  
Моя подруга и жена.  
К чему тебе молва газет —  
Соседки знают целый свет.  
О, бедный свет! От их ворот  
Идет он задом наперед.

Найду ли день и час такой,  
Когда стихов моих строкой  
Была довольна ты, сказав:  
— Ты в жизни прав, ты в песне прав!  
Таких минут, не только дней,  
Не вижу в памяти моей!

Довольно! Окончена жизни поверка —  
Потерянных сил не вернется река.  
О книгах скучала моя этажерка  
И редко перу отдавалась рука.

Мы дом наживали,  
Злословили, споря...  
Но больше  
Обед не готовь на двоих:  
Мне — новое счастье,  
Мне — песни как зори;  
Тебе — только цепи  
Желаний твоих.

Они возвращались домой. Дорога шла горюшкой, по реке Кондоме. Река то отходила от пригорка, упираясь в него заливным лугом, то приступала вплотную и подмывала дорогу. По реке густо, медленно плыли бревна с верховьев реки, изредка стучаясь друг о друга.

Серегу Чалова и Степана Почву посылали в Шухомшу. Как старых опытных колхозников их посылали в это село оказать тамошним мужикам помощь в организации колхоза.

По просохшей дороге они шагали легко, не замечая, как убывает путь. Серега изредка взмахивал руками и говорил жгучие слова. Мыслей в голове было как бревен в Кондоме. Мысли плыли тяжело, неторопом, изредка стучаясь друг о друга.

— Неужели, говорю, ваша единоличная работа может сравниться с нашей работой?.. Мы как возьмем в тиски бригад, так, глядишь, у нас через десять дней весенний сев позади... Дальше начинается превышение плана.

Степан Почва тоже поработал в Шухомше порядком. Он тоже хотел говорить, хотел, чтобы его слушали, прочувствовали бы, какой из него вырос ловкий, бескорыстный общественник, новый человек.

— Двадцать шестого числа вечером подкатывается ко мне Матюха Мешалкин. Так и так, говорит, — Загуменников-то в Москву саданул хлопотать, чтобы не раскулачивали... Сын у него там учится... С помощью сына думает выхлопотаться.

Но Серега кипятился и крыл воображаемого единоличника.

— А ты со своим плужком на своем кривом загончике проковыряешься до турецкого святого и то плана не выполнишь... Когда же государство от тебя хлеба дождется?.. Как же оно может с тобой социалистические дела делать?

— Ну и пушай себе на здоровье хлопочет... Чего ж тут такого! Все они желают хлопотать. Но только в превышенной инстанции сразу увидят гуся лапчатого... В превышенной инстанции не выхлопотаться кулаку, хуч он десять сыновей возьми в подмогу...

— Ты, говорит, Сережка, меня сбиваешь с копылков... Душу мою вывертываешь наизнанку. И выходит — я не мужик, слава те, господи, буду, а какой-то Петр Иванович штаны-наньч...

— Я не про то, — говорит Мешалкин и ведет меня в сторону... — Ну только у него золото в крыльце под тесом припрятано и кожи обделанной пуды в землю зарыты... Откуда узнал? Его ребенок мне наболтал по глупости. А перед этим недели за полторы у меня просил укрыть два места кожи... Как бы это поискать!



— Если уж ты на такую ноту съехал, так я душу твою представлю в картинках; сейчас она у тебя как пеня в траве, а в колхозе она бутонем распухнет. Вот запомни и года через два давай поговорим об этом.

— Мы, значит, с ним в милицию... к Чалову... Тебя нет, ты с землемером.

— Да я, слышь, к полоскам привык как к детям своим, зимой под снегом их местоположение знаю...

— Ищем-поищем... крыльцо у него все тесовое... из хорошей рейки... Гляжу—гвоздки...

— Лошадь, говорит, и та все мои полосы знает... Еду по полю, — уж не дергай за вожжу, — сама на свою полосу своротит.

— Отодрали рейку, а тут золото...

— Да ты слушай же! До чего это дурная привычка к мелкой собственности поганит человека!..

— Как же... такое дело... Кожу в землю зарыл...

— Да о чем ты?

— Кожу, все-таки, нашли.

— Какую кожу?

— Да ведь я рассказывал.

— Ах, да, да... Ну, таких случаев было миллион, а я ставил вопрос принципом.

Степан очнулся и, глубоко вздохнув, оглядел поля:

— Почва совсем обсохла. Живым ментом надо выезжать в поле.

Степана прозвали Почвой только три года тому назад. С тех пор, как завелись у него на полке книжки, с того времени как он познакомился с агрономией, из его лексикона выпало слово—земля. Так сильно действует книжка.

„Почва обнажилась“, — говорил он весной. „Нашу почву надо сильно удобрять и удобрять по расписанию“, — твердо говорил он мужикам и заводил опытные участки с овсом, ранними сортами картофеля, корнеплодами.

Мужикам не по душе было новое чмокающее слово. Становилось обидно. Земля... Такое это слово широкое, мучительно милое, трогательное. И вдруг — почва... Выучился тоже!..

— Почва, почва... а земля-то отменяется что ли?

— Может, почтва?

— Ну, это насчет писем!

— Сам ты почва... с трех книжек образованным прикидываешься.

Они шагали крупно. Обоим хотелось говорить, у каждого были важные мысли, оба много всего видели и еще больше пережили, но знали, что слушать друг друга нехватает терпенья... Слушающему тоже захочется рассказать, и понесет каждый свое.

Из-за перелеска дохнуло на них пронзительно терпкой гарью.

— Плетешки, — глухо промолвил Серега.

— Да-а, Плетешки, — еще подтвердил Степан.

Деревня Плетешки лежала в двух километрах от дороги.

Здесь в особых неимоверных муках родился колхоз. Деревню держали в своих лапах два отродья крупных кулаков-сапоговаляльщиков Батмановых и Медовых. Только-что организованный колхоз подвергся ужасной их мести.

Две стены двора, в котором стояли обобщественные кони, они облили керосином и подожгли в самое глухоночь. Двор сгорел быстро, как лучина. Ни одна лошадь не была спасена. Одинадцать чудовищных трупов лежало на пожарище. Колхозницы выли на пепелище, самыми ласковыми словами вспоминая своих четвероногих кормильцев. И колхозники неприметно роняли слезы в свои заношенные бороды.

Через несколько дней Плетешки получили безвозвратную ссуду на постройку конного двора и десять лошадей, взятых у раскулаченных. В колхоз вступила остальная часть деревни. Колхоз назвали „Ответ кулаку“.

Степана так увлекла работа в Шухомше, что он даже домой шел без особого нетерпенья; но Серегу заметно тянуло к дому. По правде сказать, ему хотелось видеть Катюшу Шарову, светловолосую трактористку. Она была моложе его на год, ей шел двадцать второй год. Это была девушка спокойная, сообразительная и хладнокровная. Еще в городе на курсах трактористов он сказал ей, что любит ее, и она ответила ему такой снисходительной взаимностью и ходила с ним по вечерам в кино „Спартак“. Он наметился расписаться с ней не раньше как осенью, потому что знал, что весной, летом надо очень много работать, и будет не до этого.

Однако, мысли его занимала не одна Катерина. Его тянуло к ребятам, трактористам. Второй большевистский сев требовал героизма. Сверх плановой яровой площади было намечено поднять пятьсот тридцать гектаров целины под лен. Серегу радовало то, что он был прикреплен к новенькому трактору. Правда, из-за того, что он новый, неприученный, а значит и малоизвестный, могли быть непредвиденные неполадки, капризы, но все-таки было приятно, что он новый и его можно было заставить работать с юным энтузиазмом.

Они подходили к селу. С правой стороны метнулся на них колокольный звон. Это было необычно, как снег летом.

Степан Почва разъяснил самому себе:

— В Кирекине еще не прикрыли.

И добавил громче, с каким-то молодым озорством:

— Вон у нас помахиват!

Церковь изображала корабль. Колокольня высилась главной мачтой. На ней, на главном громадном куполе, вместо креста было воткнуто древко, на верхушке которого пламенем костра струилось трепетное колыхание кумача. На основной части христианского корабля высилось пять небольших куполов. Голубая покраска с них слезла, железо проржавело, кресты сняты, и издали они напоминали компанию школьников в старых отцовских шапках, закрывших до основания их головы, когда видны только их белые тонкие шеи.

— А вдруг без нас в поле выехали, — начинал волноваться Чалов, подходя к селу.

— Что зря говорить!.. Без нас... По нас прислали бы, — с важным достоинством возразил Степан.

Они подошли к селу с гумен. У колхозной риги шевелились братья Дюковы, числившиеся в колхозе изобретателями.

Они были близнецами и жили между собой в редком согласии. Им уже было по сорок лет или около того, но они жили в одном доме. Поп назвал их одним именем и в семье их звали Иван Большой и Иван Маленький, но они были одинакового роста, — только один подюжее, другой похудее. В деревне их звали просто Иваны Дюковы. Сейчас они изобретали конвейер для соломы. Для того чтобы сметать в омету тысячи пудов соломы колхозного урожая, требовалось много времени и сил. На это приходилось ставить самых сильных работников, да и они зачастую едавали.

Нехитрое сооружение Дюковых чем-то напоминало собой древнее стенобитное орудие. Передвигалось оно на старых, непригодных уже для телеги колесах, и перевести его с места на место могли три-четыре человека.

По тесовому коридору, отлого поднимавшемуся до высоты обыкновенного сарая, передвигался конвейер из тонкой рейки. Вот солома поднимается конвейером вверх сплошной массой и оттуда низвергается на омет, где стоит один человек с вилами и разравнивает солому.

Когда Чалов с Почвой отправлялись в Шухомшу, они только-только еще толкались в правлении с самодельным чертежом, а теперь сооружение в основном было закончено.

— Готова машина! — крикнул им задорно, весело Иван подюжее.

— Вот это здорово! — воскликнул Чалов.

— До молотьбы еще далеко, — протянул Степан и постучал кулаком по стене сооружения, — до молотьбы она у вас сердешная десять раз развалится.

— Эх ты, борода, — засмеялся Иван похудее, — да ее бомбой не взорвешь!

— Ну так десять раз испортят.

— А мы так тебе ее тут и оставили!

— Мы ее всю разберем и запрем.

Чалов удивлялся, глядя на братьев. Они, никогда не специализировавшиеся в плотничьем ремесле, могли построить эту машину! И ведь сделана она у них чисто и точно, с предельной экономией материала. До колхоза о них ничего не было слышно. Изобретателями они стали только в колхозе. Большая хозяйственная машина, крупные дела требовали ускорений, упрощений, усовершенствований. По брошюрочному руководству в гривенник один из них зимой наладил с комсомольцами производство норвежских лыж, другой по книжечке такого же объема переплел всю библиотеку избы-читальни. И делали они это все с увлечением, с горением, с радостным подъемом. Серега завидовал им в этом и подражал.

Желая научиться получше писать стихи, Серега зимой прочитал руководство по этому вопросу. В нем упоминалось о творческой радости. Глядя на Дюковых, он вспоминал это место книжки.

— Новость-то, вы, наверно, не слыхали? — сказал Иван подюжее, — наш Яруничев на Катюшке Шаровой женился... Расписались.

— Степан пропустил это мимо ушей. Чалов дрогнул и побледнел.

— Д-давно ли?

— Иван, в который день это было? Надо быть, дня два или три тому.

Серега поковырял носком сапога землю, сплюнул в солому, припасенную для испытания конвейера, и пошел к дому.

Степан остался, чтобы рассказать Дюковым во всех подробностях об организации колхоза в Шухомше и в особенности о золоте и коже, спрятанных кулаком.

Сегодня можно и отдохнуть. Мать поставила самовар, сварила яиц. Она не знает ни о его любви, ни о переживаниях, которые теснят сердце, и ему оттого делается легче.

— Что ты ничего не ешь? — спрашивает мать. — Чем это тебя там накормили?

Нет, он ест, но отчасти это верно, ему что-то не хочется.

В окно бьет солнце. Сереге жарко и грустно. Он встает и выходит из избы. По улице бегают ребятишки. На завалинках сидят старики. Все как полагается весной. Сереге все-таки тяжело. Все-таки он не понимает женщину. Взять его и Катерину. Они знали друг друга насквозь. Он ухаживал за ней почти год. Ей было известно, что она любима, сама отвечала любовью и вдруг вышла за человека, который приехал в колхоз месяц назад.

Он думал так с полчаса, до легкого головокружения, потом прибодрился и пошел в конец села, к машинному сараю.

— Завтра выезжаем в поле, — сказал Сереге заведующий машинным парком Моргуш, — проверь трактор!

Около Сергея стояли уже рулевые: Варфоломеюшкин — долговязый рыжий парень, живого и совкого характера человек, и Елизар Петухов — прикренистый мужичок лет сорока, в прошлом безземельный бедняк, плохо кормившийся охотой и рыбной ловлей на Кондоме.

— Вы уже здесь? — подивился Сергей.

— Старшего за две версты увидишь, — одобрительно пошутил Петухов.

— Что ж, поработаем как следует? — властно спросил Чалов.

— Поработаем честно-благородно, — смиренно отозвался Петухов.

— Выстоим, — удостоверил Варфоломеюшкин, не зная, куда девать длинные руки. Эти люди были готовы забыть сон и все свое домашнее ради работы на тракторе. Любое, самое чудовищное требование старшего они бы приняли как будничную необходимость,

и потому они были удивлены, что от них так соразмерно их силам требуется, когда Чалов строго-настрого наказал только одно — являться на работу без опозданий.

— Чтобы в точности! — твердил Серега.

— Будет все честно-благородно.

— Как полагается.

Трактор, к которому они были прикреплены, стоял покрытый мешковиной. Они с благоговейной осторожностью раскутали его и принялись осматривать и проверять со дня прикрепления к нему в шестой по счету раз.

Серега осмотрел карбюратор, муфты сцепления, автоматы и надумал смазать весь механизм. Варфоломеюшкин и Петухов толкались около него неотступно, понимая и выполняя даже безмолвные, выраженные жестом или кивком, его повеления.

„Хорошие ребята“ — весело думал он, по-показному сурово при этом сдвинув брови, — „я поставлю им дисциплину, будут работать как сознательный пролетариат“. Этих слов было где Сереге набраться. Немало он прочитал статей в газетах, брошюр и слышался политики на областных курсах трактористов.

Разбирая и смазывая двигатель, Сергей ощутил неожиданный прилив удовольствия. Он очень любил машины и чувствовал себя около них уверенно и спокойно.

Большевикская политика и наука дышали на него острой силой и обаянием огромного гибкого ума, и он чувствовал себя в их сфере крепнущим и прорастающим в высь. Они ушли, когда им уже помнилось, что трактор устал от их обихода. Встретив на выходе из сарая Моргуша Чалов долго и подозрительно выспрашивал его, как и хорошо ли охраняется его ведомство.

— Днем сам я тут или слесари, а ночью сторож неотлучно.

— Вооруженный?

— С ружьем.

— А не дрыхнет на посту?

— Вот уж не знаю.

— Должен проверять, а то сунут огня под сарай, вот тебе и весенний сев. Плетешки-то ведь в шести верстах. Слышал?

— Знаю без тебя.



В первый же день сева Сергей нашел, что подготовка к весенней посевной проведена не плохо. Яруничев, двадцатипятилетний слесарь из Иванова, постарался — инвентарь починен и весь в строю, бригады были подобраны осмотрительно и продуманно. Единоличники пришли смотреть на работу колхоза. Они не могли не притти поглядеть, сознавая, что уже довольно упираться, давно время вступить в колхоз. Единоличники искали бьющих в глаза успехов колхоза, чтобы прикончить в душе сомнения и распутицу и решиться окончательно на расставанье со своим единоличным хозяйствованием. Они, самые мнительные и хлипкие, набирались ре-

шимости. Ждали толчка. Все они выехали тоже в поле и, оставив плужки на своих полосках, сошлись группами смотреть и оценивать колхозную работу.

Их лошади там и сям вдали дремали в сугреве весеннего солнца.

Испытывая на себе придирчивый посторонний взгляд, колхозники нажимали. Тракторы и конные бригады пахарей не мешкали ни минуты. Тихое, нетронутое поле захлестывалось разливом вспаханной земли.

Первую смену Чалов работал на тракторе сам. Какая-то внутренняя ветошь заставляла Чалова с особой пристальностью смотреть на Яруничева. Яруничев со счетоводом колхоза и жен-организаторшей долго стояли около телеги, обозначающей штаб колхозной работы, поглядывали то на единоличников, то на ход дела.

Выждав и решив, что колхозники уже достаточно показали себя, они пришли в степенное движение и через непродолжительное время водрузили над телегой ярко-новый флаг на высоком древке и широкий плакат:

„Выезжайте пахать под краеное колхозное знамя. Добро пожаловать!“

— Что это за бутафорию тут он в поле разводит? — подумал Сергей. — Э-э, чорт, все было у него заготовлено. Умеет вперед видеть. Пока я был в Шухомше, он тут видно подготовочку провел. Зря бухтеть не будет. Видать он не такой парень, чтобы промахи делать.

Крюкова приблизилась к единоличникам и говорила им речь, отрывисто рубя солнечный свет около себя ребром ладони.

Так и вышло, что Яруничев не промахнулся.

В течение целого часа собирались единоличники под колхозное знамя, бросив свои полосы, съезжались на колхозную землю, этим самым вступая в колхоз.

Яруничев разделил их на две бригады и поставил на участки.

— Вот чорт, как обернул дельце, — мысленно воскликнул Чалов, — это видно тебе — двадцатипяти тысячник, а не шляпа какая-нибудь.

И он тут же подсчитал, — прибавилось что-то около тридцати пахарей.

В этот день за восемь часов Сергей вспахал два гектара пашни, превысив норму на шесть десятых гектара.

Сергей все более ощущал в себе мужество и непредвиденное упорство в работе.

День, когда он поднимал меньше двух гектаров пашни, представлялся ему черным пятном в цепи дней доступной ему выработки. В этот момент он начинал презирать себя, и на другой день, добившись своей нормы, находил успокоенность и животворное удовлетворение.

Его радовало, что трактор работает безотказно... Из-под лемехов выходил отрезанный пласт земли и под нажимом блестящих отвалов с покорным звякающим шипением изворачивался и укладывался в строгом порядке.

Он к удовольствию своему наблюдал за собой, что эта работа для него не есть будничная, со своей скукой и тяжестью времени, обязанность. Нет, работа с каждым днем все явственнее становилась удовлетворяющим его творчеством.

В эти дни он познавал ценность жизни и наслаждение работой на пользу колхоза, воспринимаемые им как слияние с коллективом, как вливание своей силы и значимости в единую энергию колхоза. Что значит геройство? Как понимать его? Уронит тракторист дисциплину, прогуляет или пропьанствует у него рулевой две-три смены, а он проработает заподряд пятнадцать часов, потом часа три провозится над трактором, потому что во-время не проверит и не смажет его. И ходит потом героем, а многие так и почитают его. На другой, на третий день он тыкается носом в землю, его бросает в сон, он жужжит всем о своей перегрузке... Серега ненавидел такую беспорядицу в работе.

С Петуховым он обращался с острым уважением. Сменяя его, он каждый раз напоминал, что надо притти во-время и в бодром состоянии.

— Приду честно-благородно, — отвечал Петухов.

Эти напоминания не всегда были нужны, потому что Петухов сам сознательно относился к работе, но, все-таки напомнив ему, Чалов чувствовал прочную уверенность в добротности будущего рабочего дня.

Варфоломеюшкина у них взяли, — рулевых нехватало.

Петухов был неразговорчив. Только-что он начинал говорить, как встревало в его речь надоедливое „честно-благородно“, и он сбивался, полагая, что этими словами он выражает многое. В отличие от всех охотников, он даже врать не умел. Даже про героическую охоту на волков он рассказывал без подъема в таком роде: „как он бросится на меня, — тут я его и убил честно-благородно“.

И вот между Чаловым и Петуховым зародилась крепкая бессловесная дружба. И эту дружбу породил трактор. Они ухаживали за машиной, как родители за ребенком; чистили, смазывали, осматривали. В ответ на такое внимание трактор не позволил себе ни одной поломки.

Заправка трактора пятнадцать минут — норма. Чалов умел это сделать в десять минут. Петухов перевыполнял норму вспашки за смену, но незначительно. Два гектара за восемь часов — эта производительность из всех трактористов колхоза была доступна только Чалову.

Колхозники говорили, что это уж у него такая легкая на машину, талант прилежания к технике. Но все это неверно. Это было доступно каждому трактористу при предельном внимании к трактору и увлечении процессом труда.

Катерина видимо рассказала мужу о своих прежних отношениях с Чаловым, и Яруничев относился к нему с какой-то почти-тельной сторожкостью.

„Брось ты свои потаенные мысли“ — думал, заметив это, Сергей — „это дело ее; за кого захотела, за того и вышла“, — мысленно говорил он Яруничеву и в деловых разговорах обращался с ним бойко и тепло.

Однажды утром Серега, заканчивая круг, увидел, что на целине саженьх в двух от борозды стоит мать. Когда он приблизился, она еще отошла на несколько шагов, будто боялась, что трактор ее чем-нибудь заденет.

Сын остановил машину. Мать стояла, подперев сухой коричневой старческой рукой подбородок.

— Что, мать? — окликнул ее сын. — Какое дело?

От этого торопливо-делового оклика мать стыдливо оробела и, отняв руку от лица, приказно замахала:

— Поезжай, поезжай... никаких делов до тебя нет... вышла на тебя поглядеть... По всему селу тебя хвалят, что горазд на тракторе... вот и вышла поглядеть, как ты работаешь.

— Ну погляди, погляди, — снисходительно усмехнулся сын на эту материнскую гордость и пустил машину.

... Весенний сев в колхозе был в самом разгаре. По необъятному полю ходили бригады бороновальщиков, сеятелей... В другом конце поля садили картошку... На этой работе были заняты чуть ли не сотня женщин и больше десятка пахарей. Обезличка в колхозе с самого начала сева была ликвидирована; к пахарю прикреплялись отдельная лошадь и сельхозинвентарь. Это быстро дало свой результат: хороший уход и за сельхозинвентарем и за лошадьми.

Как-то на полевой дорожке столкнулся Чалов со Степаном Почвой. Он был без пояса, запыленный, худой.

— Что подельываешь? — спросил его Чалов и вытащил комара из его бороды.

— После вас — трактористов целину бороним... Почва тугая... Достается, друг... А про тебя я слышал, слышал, что ты всех трактористов опередил. Но по-моему самое геройское место не ты, а Дюковы возьмут. Иван Большой знаешь чего изобрел? Чорт-те что, как это только человеку в башку влезет! Он такое приспособление сделал и этим приспособлением соединил пять борон, всего сто пятьдесят восемь зубьев, и стал работать на них одной лошадью. Вот башка! И лошадь везет — хоть бы что! Мы сначала смеялись над ним, а потом глядим — на самом деле легко лошадь ходит... Шестой день так работает. Всех давным давно оставил. Можно бы и нам на пять борон перейти с его приспособлением, да борон нехватает. А Иван Маленький в другом месте шурует. Надо быть, он брата переплюнул.

И Степан торопливо рассказал об изобретении Иваном Маленьким замены гвоздей при устройстве крыши. Давно было наменено из обобществленных сараев построить большой сарай для



молодняка. Постройку задерживало отсутствие гвоздей. Несмотря на все старания гвоздей никак не смогли достать. И вот, оказывается, один из Дюковых разрешил эту проблему гвоздя в колхозе.

Этот трудовой энтузиазм, которым был полон Степан Почва, его бодрый, вдохновенный вид и в особенности его рассказ о достижениях Дюковых сразу изменили все самочувствие Чалова. Он почувствовал себя меньше, слабее...

Мысль упорно вертелась над осознанием хода работ и настроения колхоза. Через полчаса таких размышлений ему уже казалось, что он недостаточно нагрузил себя, Петухова, трактор, что он вовсе не энтузиаст и вообще отстает. Он почувствовал себя чем-то виноватым перед ними и повернул обратно, в поле, сел к Петухову на трактор и уговорил его работать не по восемь, а по десять часов.

— Что ж, давай по десять, — согласился Петухов: — По десять часов проработаем честно-благородно.



— Серега дома? — услышал Чалов сквозь сон.

Мать распахнула оконце и опять Сергей услышал тихое:

— Серега дома?

— Сергей, поди, спрашивают... Катерина Шарова чего-то спрашивает.

Он подошел к оконцу и увидел в ночной мути пепельный силуэт Катерины Шаровой.

— Серега, друг, помоги, не идет, артачится трактор у меня, — просяще проговорила она со слезами в голосе.

Серега бросил взгляд на ходики, что постукивали своим железцем на стене. Был на исходе первый час ночи.

— Скоро, скоро будет светать... А в два часа надо выезжать в поле.

Сергей обул тяжелые ботинки и вышел. О чем-то надо было подумать, на сердце поднималось какое-то зло, но раздумье не успело навалиться на него: клонил сон, да и надо было торопиться, чтобы без опоздания сесть на трактор.

— Ты уже встала работать? — спросил он ее уже на улице.

— Да нет... я еще не ложила... в одиннадцатом часу трактор у меня встал, и вот с тех пор все копалаеь. Не идет, не слушается меня. Варфоломеюшкин мне ноетлучно помогал — торопится, суется и только мешает. Так я его и отослала спать.

— Он совок и суетлив, — пояснил Сергей, — его надо в руках держать, а то он только запутает.

Шли быстро. Молча шли. Серега посмотрел в ее усталое лицо, потом окинул взглядом всю ее, похудевшую за эту весну и не нашел в своей душе по отношению к Катерине ненависти и мстительного недоброго чувства. Было приятное равнодушие, что

говорило за то, что он обладает могуществом жить разумом и ставить чувства на свои неширокие места.

— Против равноправия, значит, он выступает, — прогоняя остатки сонливости, пошутил Сергей.

— Это кто?

— Трактор.

— Да, чорт, бунтует что-то против бабы, — бессильно согласилась Катерина.

У машинного сарая горел фонарь „Летучая мышь“. Под его светом стоял трактор. Сергей осмотрел машину и нашел разладку, свойственную тракторам, на которых работают неопытные или невнимательные трактористы. Они не знают, не замечают, не могут наметать глаз и видеть, где и в какой мере произошли от толчков, колебаний и ударов в поле расшатывание соединений, их ослабевание и расстройство. Такой тракторист бьется часами, проверяя и пытая главные части. Все, кажется, в исправности, а трактор бунтует. Тут нужен острый глаз и чутье к машине.

Шарова с Варфоломеюшкиным мытарили механизм все глухоночь и не могли заметить одну неотрегулированную с игрой в шарнире тягу, которая вызывала расстройство многих болтов и выводила из строя всю машину. Сергей произвел подтяжку и регулировку механизма. Потом он заправил трактор и попробовал. Машина работала мягко и точно.

— Ну, теперь не бунтуй, — сказал он, сходя с машины, — а то, вишь, вздумал против равноправия.

— Спасибо, Серега. — А то я сегодня измучилась с ним, — вырвалось у Шаровой.

Сергей показался ей в эту минуту каким-то волшебным мастером.

Она повеселела.

Сергея безмолвно направился уходить. Будто укорял ее. Она почувствовала себя жалкой и виноватой.

— Серега, ты на меня сердит? — сказала она ему вслед.

— Ни капли.

— Ты...? ты заходи к нам. Яруничев, — хороший, веселый парень.

— Когда же?.. Ведь сама знаешь — некогда.

Она отвернулась и с трогательным напряжением объяснила: — Вот с тобой гуляла долго... мил ты мне был, но как-то всю душу не захватывало... А вот к нему... к Яруничеву привлекло сразу... Ну, сама себя не помню, затащило всю целиком и полностью.

— Ну что ж, затащило, так затащило... Живите счастливо, — сказал бойко Серега. — Пойду воды выпью, да и ехать пора, — вишь, весь восток побелел.

■  
До конца сева Шарова обращалась к нему еще несколько раз. Было это обыкновенно поздно вечером или ночью; она будила его, расталкивала:

— Серега, друг, опять у меня трактор артачится.

Он подымался и шел. По дороге раздумывал спросонья:

— Хорошая баба, старательная... Для колхоза старается. Другая бы плюнула и завалилась спать, а трактор отдыхал бы целый день.

Он впивался в механизм, регулировал, подвинчивал, и трактор, приободрившись, доказывал свою способность нормально жить и работать.

— Серега, ты бы наладил мне так, чтобы он никогда не артачился, чтобы работал без капризов, как твой трактор. Ты сердит на меня, и тебе хочется, чтобы я бегала до тебя, если по правде говорить.

Серега возмущался:

— Стыдно с твоей стороны так говорить. Охота мне маленькая вставать в ночь и возится с трактором. Если бы для тебя нужно было вставать, я бы не пошел, а для колхоза я десять раз встану... Механизм своего трактора я держу на глазу... Надо уметь делать своевременную подтяжку и регулировку машины, а ты этого не делаешь, и машина у тебя постоянно будет капризничать. Тряский ход по полю и неровная нагрузка трактора дают машине голчки, колебания, сотрясения в механизме... Подвинтишь, отрегулируешь, и он опять готов убиться на работе. Машина эта с диалектикой, — вот в чем секрет. Так что эти личные мысли ты брось!



...Весенний сев подходил к концу. Посевной план колхоз „Заря социализма“ перевыполнил на двадцать восемь процентов.

— Поработали честно-благородно, — празднично сказал Петухов, — теперь бы премию сграть... оно бы и приятно. А что ты думаешь? Сгребем мы с тобой по премии честно-благородно!

— Чего не бывает, — усмехнулся Сергей, — бывает, что и медведь стреляет. Охотник ты, видать, до премий...

— Так чего же такого?.. Раз они есть, так надо кому-нибудь их получать.

Все шло обычным порядком. Все выглядело будничным. Как и всегда, после работы Сергей, поставив машину в гараж, шел домой. На дороге его догнал Яруничев.

— С окончанием сева я сегодня всех проздравляю, а тебя в первую очередь, — весело сказал Яруничев. — И потом вот что, Сергей, дуй завтра на тракторе в Плетешки! Там затирает со вспашкой. Помочь надо!

Перепахканное копотью лицо Сергея расплылось в улыбку.

— Что ж, поможем! Во сколько выезжать?

— Часа в три утра.

На другой день он показал себя в Плетешках.

В полдень пришел к нему в поле Петухов.

— Что, дружок? — встретил его Сергей.

— Соскушился по вас честно-благородно... Привык к трактору, дома не сидится.

— А раз привык, так садись на трактор, а я пойду отдыхать. За пять дней они вспахали в Плетешках семнадцать гектаров пашни Серега ни на иоту не отступил от своей нормы и вспахал десять гектаров пашни, а остальные семь — Петухов.

Возвратившись вечером домой, Сергей, умывшись и поужинав, сразу же завалился спать.

Часов около десяти приехал из района Яруничев. Он спросил, вернулся ли Сергей, и разбудив его, с отъявленной поспешностью сообщил ему, что Трактороцентр дал району место в заграничную поездку. Райколхозсоюз выделил его, Сергея Чалова.

Серега сел на постели и свернул цыгарку.

— Поедешь? — невольно спросил его Яруничев, заметив его спокойствие.

— Ну, еще спрашиваешь...

— Две недели осталось до поездки. Ты эти две недели можешь отдохнуть. Так об этом мне и говорили. Отдых, говорит, ему дай, чтобы парень ехал при полных силах.

— А чего ж отдыхать? Я не переневолился. Я поработаю, а то без дела скушно.

Утром об этом знал уже весь колхоз.

— Серег, охота ли за границу-то? — спрашивали его колхозники.

— Ничего... можно съездить... Занятно поглядеть... — отвечал невозмутимо Чалов.

В вечер того дня братья Дюковы и Степан Почва были избраны на областной слет колхозников. На том слете Иваны Дюковы получили премии как изобретатели. Степан Почва высказывался два раза с трибуны слета о весеннем приливе в колхозы и классовой борьбе в деревне. Его портрет был напечатан в газете с такой подписью: „Лучший ударник колхоза „Заря социализма“ Ст. В. Хохряков“.

*Светлой памяти  
Шоциной Эмили  
посвящаю.*

Ивановская область отхватила себе все верхнее Поволжье. Пятьсот верст от Углича до Городца течет Волга в пределах области, раскалывая ее, как зигзаг молнии, на две почти равные доли: промышленную — правую и левую — глухую, лесную, крестьянскую.

В среднем Заволжья много лесных речек, рек, озер, неосвоенной земли и вырубок. Деревня Шипка появилась в Заволжья лет пятьдесят тому назад.

На тихом, круглом и небольшом (диаметр его с километр, лесном озере Санда сначала появился починок в два дома. Сюда на пустошь выселился со своим другом Бобковым георгиевский кавалер турецкой войны Максим Половинкин, когда-то вернувшийся домой с тремя лычками на погонах и георгиевской медалью второй степени за отличие в боях на Шипке. Хвастался Максим своими военными подвигами, и мужики как бы в насмешку стали звать починок Шипкой.

На Шипку приезжали новые семьи, ширились семьи Половинкиных и Бобковых и к нашим дням Шипка развернулась до четырнадцати домов.

Первой большевистской весной беднота Шипки пыталась создать колхоз, но зажиточные сорвали организацию его слухами, подкупом наиболее слабых бедняков, угрозами.

Во вторую весну беднота заговорила по-другому, в особенности когда в деревню пришли „сваты“ из ближнего Загорьевского колхоза, что в семи верстах.

В час ночи закончилось собрание бедняцко-средняцкой части Шипки, а в шесть часов утра в доме Половинкина собралась кулацко-зажиточная верхушка деревни. Стоял вопрос, как встретить новорожденный колхоз: раздавить его в самом начале или влиться в него и взорвать его изнутри.

— Если пойдешь на них с ружьем или поджогом, сам головы не удержишь, — рассудил Никифор Бобков, сын первого поселенца Шипки, — теперь уж очень это стало известно — живо откроют и тебя с катушек долой.

С ним согласились, — этот способ не годится — чересчур известен.

— Не трогайте — потешатся, — умиротворенно и снисходительно проговорил Антип Палкин, скупщик рыбы, — потолкуются и сами живым манером развалятся. Кому работать-то? У них одни лодыри, лежебоки и свистуны. Отчего у них ничего нет? Работать лень, рано вставать неохота. В прибавку к этому записаться к ним одному-двоим из нас и подталкивать полегоньку к концу, расшуги-

вать, не давать зацепляться... Этих своих людей мы должны поддерживать и награждать.

Этот ход все нашли верным и умным и принялись его развивать, уточнять. Особый блеск этому предложению придал дотянувшийся до этих дней восьмидесятилетний, но крепкий еще Максим Половинкин.

— Надо сделать так, чтобы всей округе насмех вышло, — прогудел Максим, — самого их породистого бедняка Семку Шайкина надо посадить в председатели. Вот уж есть на что будет потешиться! Еще до троицы они тогда разбегутся, и изо всей этой затеи один смех выйдет. Работа придет, а председатель будет сидеть на озере или в перелеске за корольками сигать.

Собрание вообразило Семена Шайкина руководителем колхоза; смех и оживление охватило всех.

— Варит у тебя котелок-то, дед Максим!

— О-о, он еще за министра управится.

— Вишь, старый, с какого козыря пошел! А нам и невдомек ихний колхоз такой шляпой покрыть.

Воздав должные похвалы сохранившемуся во всей своей яркости уму Максима Половинкина, решили в колхоз не вступать и только для подрыва изнутри протолкнуть в колхоз Никифора Бобкова, окружить его вниманием и немедленной в каждом деле помощью. Уговорить, задобрить, задарить, подпоить наиболее горластых и податливых из записавшихся в колхоз и поставить председателем правления на общую потеху бедняка Семена Шайкина.

Семен в это время багрил рыбу на озере и подумать не мог, что ему предстоит занять такой высокоответственный пост и он будет именоваться Семеном Степановичем. До сих же пор его даже по имени никто не называл. У него было прозвище — Кокой. Так здесь зовут крестных. Как-то уж повелось в Шипке звать его в крестные. Это пошло с того, что Семен считался самым свободным и легким на подъем человеком. Дети в деревне в большинстве родились летом, всем было некогда, а Семен всегда был под рукой.

Мужик спускался огородам к озеру и кричал приказно:

— Семен, крестить!

Семен снимал свой плот с якоря и ехал к берегу. В Шипке у него насчитывалось девятнадцать крестников, а вся деревня от мала до велика звала его Кокой.

Жил он беднее всех, без лошади, без коровы. Лошадь когда-то у него утонула в болоте, загнанная туда волками. Чтобы купить новую, пришлось продать корову, но и вторая кляча умерла под крещенье в хлеве от неизвестной причины.

Тогда он метнулся прочь от поля к озеру и лесу, к птицам и рыбам. Лето он проводил на озере — ловил рыбу или гонялся в Тихвинских перелесках за певчими птицами.

Вся его избенка была увешана клетками. Он выявлял певчий дар птиц, обучал их и сбывал в город знакомым птичникам. Зимой он пробавлялся охотой и сдавал избу под вечерки.

У него были жена и дочь пятнадцати лет, которые на зиму уходили в город, в няньки. Лето они не могли прожить в городе, — очень тосковали, и весной приходили в деревню. Дома они ходили по грибы и ягоды, работали неделями за пуд-два ржи у богатых.

Организация колхоза шла гладко.

— Эй, Кокой, поди посиди, погугорим, — окликал Семена Максим Половинкин. — Ну, как калхос (слово он ломал для иронии) состряпывается?

— Ничего... вольготно... Семь хозяйств уж записалось.

— Хватко! Я бы тоже вписался, да стар слишком, не гожусь работать с молодыми об руку, — поддельвался Максим. — А тебя, друг, говорят, как чистокровного бедняка в начальники выбрать хотят?

— Идет слух про это, идет. Только где уж мне?.. Не справлюсь... малограмотный я, а при том и от поля отстал.

— Вот-вот, тебе председателем и быть. Что тебе поле? В поле тебе работать не надо. Твое дело только править. Нет уж, брат, ты не ерпенься — уважь колхозников!

— Там видать будет, — нехотя заключил этот разговор ничего не подозревающий Семен.

К изумлению кулацко-зажиточной верхушки деревни выборы Семена на пост председателя правления прошли удачно. Колхозники подсмеивались над ним, но не протестовали.

Сваты — колхозники из Загорья даже одобрили его кандидатуру.

А те, которых Максим Половинкин подпоил и задобрил, горлачили за Шайкина, и он прошел в председатели даже с некоторым триумфом.

Стал Семен руководить и организовывать и вскоре доставил Максиму Половинкину и его компании первое удовольствие. Дело было так. Он приехал в райколхозсоюз получать пружинные бороны. В конторе стали заносить колхоз в книги, писать счета.

— Как ваш колхоз называется? — спросили его.

Шайкин пришел в замешательство — шипкинские колхозники еще не думали над названием колхоза.

— Как же писать? — торопили его.

— Соловьи, — неожиданно выпалил Семен.

Служащему почудилось в этом что-то несерьезное.

— Странно... Почему это так назвали?

— Место очень красивое, — нашелся сказать Семен.

Вернувшись, он без утайки, без прикрас сообщил об этом.

— Так что же это тебе, голова с маком, придумалось так колхоз назвать?

— Да в тою минуту вспомнились чего-то мне соловьи, леса наши и озеро...

— Ну, теперь мы, братцы, — соловьи! Вали запевай, порхай на ветку, — кричали шутники.

— У-ух, до чего правильное прозвание дал, — сплетал в до-

вольном смешке сотни морщин на лице своем Максим Половинкин. — Ну, до чего ж человек дельный! Хи-хи... Соображение какое! Птичье...

Палкин, Бобков и другие зажиточные потешались вместе с Максимом и были уверены, что все предположенное на том собрании начинает сбываться.

Спор ли, собрание ли открывалось у колхозников, в деревне неизменно говорили:

— Чу-у, соловьи запели.

Но вот наступили дни весеннего сева, и Семен вскоре выказал себя серьезным и старательным работником. Он не умел красно говорить, призывать, начальствовать и отличался редкой нечувствительностью к насмешкам, которые сыпались на него со стороны единоличников.

Бывало страсть любил он рассказывать о разных „птичьих коленах“, „светлых лазорниках“, „лешевых дудках“, а теперь замолк, будто никогда и не знал их.

Только по старой охотницкой привычке вставал он рано, вместе с птицами и рыбами, как только начинала источать свои краски над лесами заря.

Умывшись на озере, покурив и перемолвившись с ночным сторожем, Семен принимался чинить сбрую, осматривать инвентарь. В избах старики будили семью:

— Вставайте, Кокой давно на улице.

Каждую мелочь он помнил, каждый пустяк держал на-глазу. Половинкин, Бобков, Палкин не узнавали Шайкина. Куда делся прежний созерцатель, бездельник, охотник?! Он с утра до вечера работал в поле.

— Чего ж ты работаешь? — подкатился как-то к нему Бобков. — Ты же председатель и должен только управлять.

— Управленья хватит... надо работать.

Максим Половинкин хмурился и дряхлел, увидев, что все его расчеты пошли прахом.

Палкин говаривал Максиму сердито:

— Посадили дурака в начальство на свою беду.

Половинкин вдумчиво расчесывал пятерней бороду.

— Надул, сукин сын! И не знаю, как это так обернулось... Ведь лежебок был, самый никудышный мужиченко. И откуда все это в нем взялось? — бормотал он. — Ведь, чорт, работает впереди других... как подменили его.

— Мы в насмешку сажали его в председатели, а он принял это как почет, — строил догадки Палкин. — Принял как почет, и распольхалась у него душа от этого, — вот он теперь и показывает, что он умный и в начальстве ходить может.

— Да откуда же у него, у дурака, толк на эти дела взялся?! — вскрикнул Максим.

Расстраивался старик, с каждым днем убеждаясь, что его предположения терпят крах.

С его домыслами никто теперь уже не считался, авторитет его падал. Ведь, казалось, в совершенстве знал старик и людей, и жизнь.



и вдруг вот такая промашка. Выработанное долгой жизнью мироощущение оказалось с изъянцем. В эти дни он ощутил полную растерянность. Героев строительства творят большие работы, хорошие руководители и организаторы — ответственные дела. Максим Половинкин ошибся, не зная диалектического развития личности.

Вспашка в колхозе шла быстро. Пашня в пластах вздымалась над озером, над деревней огромной тучей.

— Взломили ева сколько — глазом не окинешь. Подняли столько земли, что и не управимся. Все это надо заборонить, посеять, запхать, — до Петрова дня пропутаемся.

Шайкина эта оторопь не задела; он соображал, расстановив силы и тайл надежду управиться к сроку.

Бросить лошадей на бороньбу, — поля неподнятого много; отложить бороньбу, — земля сохнет, сев невозможно затянется.

Беда заключалась в нехватке тяговой силы; девять лошадей, которые имелись в колхозе, были загружены до предела.

В бытность свою в Германии, в плену, он работал у небогатого хозяина на коровах. Там коровы использовались даже на вспашке поля, а здесь для них хватит посильной работы — бороньбы.

Колхозное стадо состояло из трех общественных вторых коров и четырех коров из совхоза Батыево, купленных колхозом в кредит при разгрузке его молочной фермы от непородистых и маломолочных коров. В германском плену был также колхозник Анисим Галочкин. Вечером Шайкин все обтолковал с ним, и на другой день с утра они сели изготовлять упряжь для коров. В полдень письмоносец принес в колхоз два пакета. Шайкин, чтобы не отрываться от работы, заставил дочку (они с матерью уже пришли из города) читать ему бумаги. Усевшись на лужайке, она читала нараспев:

— „Одной из крупнейших побед на фронте большевистского сева в этом году должна быть победа на фронте посева льна. Область должна засеять двести тысяч гектаров пашни — тянула девушка убеждающие слова указания, — этот план энтузиасты-колхозники выполнят и перевыполнят. Надо сейчас составить внутриколхозные планы посевов льна“.

Слушает Шайкин и прикидывает, сколько гектаров пашни можно льном засеять.

Вторая бумага оказалась строгим циркуляром райколхозсоюза, в котором говорилось обо опыте Северного Кавказа, показавшем, что мелкие бригады дают малую производительность, а потому бригады должны состоять не меньше, как из шестидесяти человек.

— Вот так поп с гармонью! — засмеялся Шайкин. — В такую бригаду уйдет три таких колхоза, как наш. Надо будет в село до ячейки сбегать — узнать, кто это там с ума сошел.

Вечером по холодку Шайкин с Галочкиным обучали коров бороньбе. В двухконные пружинные бороны впрягли по две коровы. Шайкин управлял двумя упряжками и ехал впереди, за ним шел Галочкин тоже с двумя упряжками. Третья корова была впряжена в одноконную железную борону. Коровы, видя, что их ли-

шают гулянья и привычного безделья, жалобно мычали, брыкались и лезли в сторону.

Из деревни давно уже выбежал люд смотреть на это диковинное дело. Тут были и колхозники и единоличники. Максим Половинкин, ходивший лето с непокрытой головой, кричал; его густые седые волосы трепал ветер и казалось, что с его головы, как со снежной вершины, вот-вот посыплется иней.

— С чего это ты, ирод, божью тварь мучаешь? — кричал он, — Отступись!.. Ослобони ее, — осподь поселил ее на землю молоко давать, а не работать.

— Достались они ему, чорту, на растерзание, — горданил Палкин.

— Богородица матушка, защити их, — плакалась старуха Бобкова.

— Прогнать их, только и всего, — орал Максим Половинкин.

— Не на твоих коровах он выехал, — осадил его колхозник Ломгев, — коровы колхозные, — хотим их доим, хотим на них пашем.

Спор разгорался, заходил в прошлое, брался за сегодняшний день и вновь врезался в пласты годов.

Шайкин с Галочкиным тем временем добивались своего. Они десятки раз распутывали упряжь, ставили животных на свое место, стегали непослушных и всячески поощряли понятливых и старательных.

— Говорили — на тракторах будем пахать, а поехали на коровах.

— Всем сразу тракторов не наделаешь, — доносились до них отрывки перебранки.

Возвращаясь с поля, Максим Половинкин встретил на улице Бобкова.

— Что же ты, Александр, ничего не маячишь? — зашипел он на него, — они, того гляди, задавят нас, а ты присел и не подрываешь.

— Поди, подрывай... Ишь ты, какой ловкий! Сам-от ты вона как подорвал. Все твои слова пустые были.

Это уязвило Максима, и он смешался:

— Это ты брось! То все прошло, и нечего его ворошить. Теперь их надо сковырнуть нажимом. Вон седни Семка по-тайности говорил своим, что колхоз этот незаконный, колхозы меньше шестидесяти человек не действительны, а у них всего-то двадцать. Их согласно этого закона можно прихлопнуть. Наша деревня мала, она под колхоз неподходящая и по всем законам имеет право до окончания века жить в единоличности.

— Это я тоже слышал, — отозвался Бобков, — надо вырвать у Семки эту бумажку и показать всем колхозникам, а тогда кончай базар, забирай все свое.

— Эта мина от колхоза праху не оставит, — подтвердил Максим, — и тогда живи спокойем.

— А то, что посеяли, придется нам, дед, по едокам колом разделить.

— А чего ж! Такое дело, что по едокам... разбросить поле больно недолго хоть колом, хоть веревкой.

На другой день Александр Бобков и сагитированный им Еня Пирог отказались ехать в поле.

— Почему отказываетесь? — сухо спросил Шайкин.

— А потому! — разжигая себя, закричал Бобков. — Да все потому, что колхоз наш законом отменяется, уважаемые мужички! — повернулся он к колхозникам. — Вчера пришла в наш колхоз от правительства бумажка прикрывать все колхозы, в каких-то людях меньше шести десятков человек.. оттого с этого дня нашему колхозу аминь, и опять, значит, хозяйствуй всяк сам по себе.

Шайкин подступил к нему:

— О какой бумажке ты мелешь?

Бобков крикнул ему прямо в лицо, так что от его дыханья колыхнулась борода Семена:

— Кажи, стерва, бумагу правительства! Вчера прислата бумага, а ты ее зажал!

— Ты не ори, — раздельно заявил Семен. Нижняя губа у него дрожала. Заметно было — больших усилий стоило ему сохранить спокойствие. — Не ори! Не боюсь.

— Кажи бумажку!

— Что ты ее таишь?!

Кричали из-за толпы Максим Половинкин с Палкиным:

— Раз такой закон вышел, так его теперь не скроешь!

— Никаких секретов не должно быть промежду нас!

— Не таи, Семен!

— Танька, иди принеси вчерашний сверкуляр, про бригады, — послал он дочь, чтобы не оставлять колхозников на это время в руках врагов.

— Бумага эта, товарищи, ничего не обозначающая, — говорил он тем временем, — ничем нас не касаемая, и слова в ней ни к селу, ни к городу. По-моему пустил ее на колхозы какой-нибудь подкулачник, который сидит там на должности.

— Ты закон не замазывай!

— Будешь ты у нас в тюрьме за эту подлость!

— Смотрите, из него какая гадюка образовалась! Был мужик тихой, смиренный, а теперь что делает! Как ему над народом-то издеваться полюбились!

— Охота ему в камисары пролезть.

— То-то вот и оно-то.

Танька принесла пакет. И вот Шайкин прочитал бумажку о том, что составлять мелкие бригады нецелесообразно: по опыту Северного Кавказа надо составлять бригады в шестьдесят человек. Не успел он дочитать, как раздались торжествующие крики:

— Аа-аа, вот оно где скрывалось! — пропел Бобков.

— Ишь ведь, дьявол, какую бумагу зажал, — покачал головой Половинкин.

— Твой колхоз не дорос, — захохотал Еня Пирог. — Свертывай монатки, уходи, братцы, в единоличность, кто эту бумажку понял!

— Товарищи! — закричал Шайкин в отчаянии. — Вы же слышали, что тут про бригады говорится.

— Колхоз-то у тебя из двадцати человек, а про бригады и говорить ничего не остается: четыре бабы — вот и вся двигада.

— Чего ты брыкаешься, Семен, раз наша деревня под закон не подходит?

— Против закона не выстоишь.

— А мы старались, старались, — срывающимся голосом протянул колхозник Каплин.

— Почему же это нам сразу не сказали, что малой деревне нельзя заводить колхозы?! — недоумевал Ломтев.

— А мы хотим жить в колхозе! Вот и все! — выкрикнула жена Шайкина.

— Мало ли ты чего, голодранка, захотела.

— На нее работают, ей любо.

— А-аа, без власти ей жить охота!

— Дорогие мужички, — обратился теперь уже важно и степенно Бобков, — все вы слышали, что тут написано. Так вот надо нам расхотеться из колхоза по добру по здорову, покамест нас свыше не прихлопнули. Все, что посеяли, раскинем колом по едокам. Выйдет всем без обиды. А сейчас давайте выписываться. Я первый ухожу.

— Меня тоже зачеркни, — поспешил заявить Семену Еня Пирог.

— Симеян, надо бы про это узнать потоньше! А то что ж это выходит?..

Большие серые глаза Семена смотрели за лес. Его охватило потрясающее раздумье. И в эту минуту он сунул бумагу в карман и тихо прошел мимо схода.

Он направился к лесу. Толпа смотрела ему вслед, как на помешанного. Он шел сначала тихо, потом все быстрее, быстрее и перед лесом побежал.

— Удавится, — испуганно выдохнула Наталья Палкина.

— Дождись... радуйся... он в село точность узнавать пошел, — торжествующе сказал Ломтев. — Идемте работать.

— Поди один, мы отработались, — отрезал Бобков.

— И один пойду. Кто со мной? Бумажка-та эта написана как по огороду палкой. К чему эти шестьдесят человек? Не понять.

К вечеру Семен приехал с секретарем загорьевской партийки Тутаевым, который рассказал, что этот циркуляр — произведение бюрократа, грубейшая ошибка, и на него следует только плюнуть. К условиям северных мелких колхозов опыт Северного Кавказа не подходит; там колхозы по две тысячи дворов имеют, по двадцать тысяч гектаров земли. Южный гигант и северный карлик имеют много разного в постановке дела. Подкулачники Бобков и Пирогов знают, что это просто головотяпство, а не закон, но они пользуются этим случаем, чтобы развалить колхоз. Их надо исключить из колхоза, удержав согласно устава в неделимый фонд пятьдесят процентов обобщественного имущества.

Как реакция после пугливых переживаний сегодняшнего дня и временного упадка духа было яростно-единодушное одобрение его слов.

В колхозе осталось пять мужчин и тринадцать женщин, не считая подростков. Шайкин с Галочкиным бороновали поле, не отрывая для этой работы ни одной лошади; коровы слушались теперь даже окриков.

Сеялку колхоз не достал; пришлось сеять ручным способом. На эту работу выделили бригаду женщин во главе с Дарьей Окуневой, вдовой домохозяйкой. Сдельщина и такое высокое поручение так подняли дух сеятелей, что они каждый день перевыполняли норму. Сама Дарья Окунева засеивала каждодневно три и три с половиной гектара пашни. Весеннюю посевную закончили без опоздания. Вечером в день окончания сева Шайкин держал перед колхозниками речь.

— Товарищи колхозники, как мы теперь разработались, то нам нельзя теперь останавливаться, — заявил он и этим удивил всех до крайности. — Много мы посеяли овса, вики, ячменя, но мало мы, товарищи, посеяли льна. Вот я и говорю — время у нас есть и мы в силах ухватить старый выгон за рекой... Под лен очень хорошая земля. Нехорошо у нас будет на сердце, если у нас под окошком такая добрая земля будет не запахана.

— Земля хорошая. Правда, пеньки попадают, но не часто.

— Ухватить надо, — отозвался Ломтев, — понатужиться только придется.

— Отдохнуть бы уж пора...

— Не в том дело, что отдохнуть, а навоз возить и пар поднимать не опоздаем ли.

— Не опоздаем. Время не ушло.

— Что ж, братцы, давайте возьмемся!

В таком духе поговорили колхозники и взялись. Шайкин так и рассчитывал, что они не откажутся.

Удача и спайка в работе поселили в них смелость, уверенность и трудовую отвагу. То, что недавно казалось невозможным, теперь было доступным и простым. Даже перестала быть диковиной работа на коровах, даже огромная для Шипки площадь колхозного посева казалась обыкновенной.

Освоение выгона под лен — дело выполнимое, — решили они.



Шипка спала на приподнятом берегу озера как семья на нарах. Лес, подымавшийся за деревней, возвышался над ней черной задымленной стеной крестьянской избы. На озере громадным облаком лежал туман; он видимо был порожден озером: чем ниже, тем гуще и серее. Туман задавил озеро, — ни всплеска на нем, ни шороха, ни крика.

В Тихвинских перелесках заливаются соловьи. Утро еще не наступило, а они уже распевают. Этой весной им покойно, не ста-

вит на них силки Семка Шайкин, не прячет их в клетки, не отправляет в город.

В озеро впадает лесная речка Линда. На реке тоже туман, и лежит он длинной-длинной кривой полосой; к озеру гуще и выше, а дальше все прозрачнее и ниже; он сливается с туманом озера и похож на громадный хвост исполинского пушисто-белого спящего животного.

Перед Максимом вздымается мост через Линду. Он еще новый — строили его года два тому назад на средства самообложения. Вздымаясь над туманом, мост кажется восковым. Седая-расседая голова Максима — словно охалка тумана.

Пусть они теперь едут осваивать старый выгон. Пусть Семка немного осядется, а то устали не знает. Рад дурак, что его повысили, — готов убится на работе. Добивается, чтобы его заметили и взяли в город комиссаром. Всю деревню в колхоз хочет затянуть. Так ему и дались! Поглядим, как он завтра на старый выгон пахать поедет. Мост?.. Мост, конечно, нужен — через него лежит дорога в город, да ведь зачем Шипке город? Без города спокойнее. Правда, раза два-три в год приходится в город съездить — продать, купить, но это бывает осенью и зимой. До этого времени можно какой-нибудь, хотя бы немудрящий, мостишко перекинуть. Пусть Семка потухнет со своим льном! Половинкины, Бобковы, Палкины тоже живые, головы крепкие имеют и жить хотят. Пусть завтра плывут на своих коровах за реку.

Так и стоит перед глазами у Максима. Вот лентяй Семка выехал на плоту на середину озера, снял рубашку, покрыл голову громадным лопухом, закинул удочки... И будет он тут сидеть весь день до позднего вечера. На жаре рыба плохо клюет, а он все-таки сидит... И завтра то же. Каждый день. Или вот лежит многие часы в Тихвинских перелесках за ивовым кустом, третий день стараясь поймать облюбленного десятиколенного королька. И тут же предстает перед ним сосредоточенный деловой председатель колхоза. Он первый на работе в поле. Какая сила преобразила этого лентяя? Что заставило его перемениться?

Максим не знает ответов на эти вопросы. Его душит злоба и не дает ему все продумать глубоко и честно. Он знает только то, что свитое им на берегу это гнездо, эта деревня, название которой напоминает о его молодости и воинских заслугах, уходит изпод его влияния. Дать Семке освоить выгон, — это значит позволить ему окончательно укрепить колхоз и стяжать славу и похвалы.

Он спускается под мост и минуты две трогательно гладит толстые балки моста и добротный настил, жалея, что должно пропасть такое добро. Затем он плещет из посудинки керосин, сует под мост сухих еловых прутьев, набранных в лесу, и зажигает.

Отступая от моста, старик любит, как неторопно, со знанием дела огонь въедается в мост. Потом Максим тихо уходит в лес. Лес смотрит на него сердито и протестующе, шумит ли-

свой от предутреннего ветерка, похоже негодуя, что он пустил на него дым и унес с реки на своих плечах охапку густого тумана.

Из леса он слышит, как в деревне сторож ударил в железную доску, пронеслись испуганные голоса, залаяли собаки..

Максим не боится. Все равно умирать — хоть завтра, хоть через три года. Колхоз ему не по душе. Он привык работать своей семьей и этого распорядка не отдаст за золотые россыпи. Семью, пока жив, в колхоз не пустит. Его семья в колхоз пойдет только через его труп.

Максим делает лесом круг, направляется к овинам деревни, оттуда на сеновал, где он спит с того года, как умерла старуха, с ранней весны и до поздней осени. Пробравшись в сарай, он смотрит в щель на реку. Там бегают и кричат люди. Пламя — как огненная скала, готовая рухнуть. И на самом деле скала низвергается, оставляя холм дыма, простроченный тысячами взлетевших вверх искр. Это рухнул мост.



— Сожгли гады мост, — хмурится Шайкин, — это сделано с тем, чтобы нас от выгона отбить. Явный факт!

— В милицию надо итти жалиться, — в третий раз повторяет Дарья Окунева.

— Мы теперь наперекор им не только выгон запашем, а еще чего-нибудь прихватим, — суча кулаками, говорит Иван Каплин.

— Такое дело, что не отступимся, — в задумчивости бурчит Шайкин.

— О чем ты замечтался? — весело спросил его Ломтев, тая в душе что-то бодрое.

— Думаю, во сколько дней мы мост наведем. Как бы не упустить время других работ.

— С мостом канитель велика. Мужиков у нас пятеро, а плотников ни одного.

— На плоту все понемногу перетащить и стать там табором.

— Так и придется.

— Не про то я, — остановил всех Ломтев, — я брод найду... С версту выше по реке брод есть. Только один берег крут — придется сравнять,

Утром исследовали брод и срыли крутизну, чтобы сделать возможным подъем с реки. После полудня двинулись на выгон. Мокрые по пояс, но возбужденные и по-боевому настроенные колхозники миновали реку...

— Ну вот и переправились, — легко вздохнул Шайкин.

— Ну сильно же интересно мне, кто это поджог! — воскликнул Каплин. — Неужто не дознаемся, кто это.



Из района в кампанию приведения в порядок отчетности колхозов приехал счетовод — школьный работник из районного городка.

Большинство колхозников нормы перевыполнили, приходилось записывать по полтора и даже по два трудодня за один день. При всем этом качество работы было достаточно высокое.

Счетовод был человеком пожилым, толковым и дельным. Он выяснил точно, сколько засеяно, сколько освоено новой земли, все записал в тетрадку. Здесь он почувствовал себя необыкновенно хорошо и пробыл пару лишних дней. Шайкин провел с ним два вечера на озере за рыбной ловлей. Учитель преподавал естествознание и русский язык; он неотступно ходил за Шайкиным, выпытывая у него наблюдения над рыбами, певчими птицами и лесом.

■

Двадцать девятого июня умер Максим Половинкин. Смертно он хворал полторы недели. Старик опустился, одрях, ничего не ел и уверял домашних, что он нынче летом помрет.

Сам себе сколотил добротный просторный гроб и купил у знакомого спекулянта пуд белой муки на поминки.

Сделав эти приготовления, он ощутил такую слабость, что признал ее за приближение смертного часа.

Старики приходили к нему прощаться. Но смерть на этот раз не пришла.

Через два дня он вышел на вольный свет и даже протащился в поле; посидел там, поглядел...

Райисполком строил через Линду новый мост. Прислушался. Ветер доносил стук топоров и визг пил. Возвращался он в деревню еще более дряхлым и разбитым.

— Встал? — встречали его ласково старики. — Вот и хорошо, поправляйся.

— Нет, чую, что умру.

— Какая же у тебя болясть?

— Изворот сердца. И не мил мне белый свет.

Умер он на другой день в три часа пополудни, греясь на солнышке у сарая.

■

— Товарищи, мы герои, — объявил Шайкин.

— Как это — герои? — удивились колхозники.

— Вот так и герои... Вот письмо по моему адресу пришло. Слушайте, прочитаю:

*„Уважаемый товарищ Шайкин, передай своим колхозникам, что вы — настоящие герои. Возвратившись из Шипки после налаживания учета труда и раздачи трудкнижек, я написал о вашем колхозе заметку, которая через два дня была помещена в газете. На эту заметку обратила внимание область, и вот уже о вас упомянуто в докладе обколхозсоюза на пленуме обкома партии. В герои вы проходите таким образом. У вас тринадцать женщин и*



пять мужчин. Вы посеяли сто двадцать восемь гектаров. У вас выходит посева по семь гектаров на человека. Вы на семи коровах сделали по бороньбе то, что дает трактор за такое же время. В районе уже мне говорили, что вам дают премию в виде полусложной молотилки. Вперед, к новым достижениям! В августе приеду на охоту.

*Вас. Фед. Сакулин.*

Возили навоз. Шайкин, Галочкин и Ломтев—одна из бригад, наметав телеги и отправив их в поле с подвозчиками, сидели на лужайке у двора.

Вокруг стоял густой навозный дух. С поля доносился неистовый бряк телег. Это подростки гнали обратно, стоя на ногах в пустых телегах.

Бригада в эти свободные минуты корпела над составлением петиции в райколхозсоюз.

„При начале нашего дела мы по ошибке прозвали свой колхоз „Соловьи“, — писали они, — но теперь эта марка нам ни в какую не подходит, и мы просим старое слово ликвидировать. С сего числа мы дали своему колхозу название „Герой“, как это нам больше подходит согласно самой высокой площади посева на человека, изо всей области в этом у нас первое место“.

... Мастер снял земляную кору  
И глиняный грунт,  
Как с бою отбитое знамя,  
Как алого солнца лучи,  
Нас озарил.

И тогда между нами  
Мастер пролил большую радость.  
Качественные будут кирпичи,  
Здесь строить завод  
Обязательно надо.  
Комсомолец добавил:  
— Друзья!

Завод — это ценно очень...  
И каждый на руку взял  
Пламенной глины кусочек.

Стройка в колхозе  
Теперь горяча,  
Строителей много,  
Но нет кирпича.  
Всю зиму гуляли  
Колхозные парни,  
А надо немедля  
Строить свинарник,  
Телятников нет,

И пора  
Делать закладку двора!

Планы сначала, решения, и вот  
Через год заработал  
Кирпичный завод.  
Ты слышишь, как солнце  
Звенит лучами  
И закипают  
Строительством дни?  
И чувствую я,  
Что и песни мои  
В великую стройку  
Идут кирпичами.

Я в думax сложился,  
Окреп я,  
Постиг:  
Знaнья от жизни,  
Знaнья от книг.

На стройку несу я твердые строки,  
Тяжелые строки, как кирпичи.  
А день надо мною  
Такой широкий,  
Звенящая ширь  
И лучи,  
Лучи!..

За Окою,  
 За долиной снежной,  
 В серебристый кутаясь наряд,  
 Будто девушки  
 Красивые и нежные,  
 Сосны с елками построились в ряд.

А кругом,  
 Как в валунах огромных,  
 Опоясаны сугробами леса...  
 Вот сюда,  
 Врезаясь задорно,  
 Зазвенели молодые голоса.

Застучали, зарубили и заботали,  
 Отразился эхом пережат,  
 Закипела дружная работа  
 В молодых мозолистых руках.  
 Застонали вековые сосны,  
 Что стоят,  
 Дрему затаив,  
 Полетела бисерная россыпь  
 Из-под звонких торопливых пил.

Эх, вы, сосны  
 И стройные ели,  
 Распушенный серебряный снег!  
 Это вам  
 Напевали мятели  
 Песни нежные в дремотном сне.

Это с вас  
 Лесорубы задорные  
 Отряхнули покой дремоты,  
 Чтоб весной  
 С смолистыми бревнами  
 По Оке переплавить плоты.

Потянувшись от Муромы к Нижнему,  
 Где родные леса широки,  
 Поплывут  
 От местов насиженных  
 Под знакомую вызвонь Оки.

Поплывут по приокской дороге,  
По волнистой широкой меже.  
Эх, страна,  
Надо леса много  
Для построек твоих этажей.

Мы сумеем  
Ударной бригадой  
С топорами врезаться в леса,  
Чтоб огромным  
Бунтующим садом  
Расцвели сильнее корпуса.

Иваново-Вознесенск.  
Комсомольская литгруппа.

## В Тутаевской тюрьме

Я находился в подвале со сводчатым потолком. Стены испещрены всевозможными надписями и штриховыми рисунками. Иные устарели, местами стерлись, но многие еще можно хорошо рассмотреть.

Орудием искусства в большинстве случаев был гвоздь или другой острый железный предмет, реже — уголь.

На стене четкая карикатура на Николая второго, с ослиными ушами, с большими слабоумными глазами. Перед ним гора солдатских шапок, из каждой выглядывает череп. Под рисунком надпись: „Шапками закидаем“. Содержание относится к Японской войне, к первой революции. Рука революционера ядовито отразила ум и настроение николаевской эпохи. Подчиненный ей, обычный гвоздь, может кровельный или драночный, смело выразил мировую мысль.

Сколько людей перебивало здесь! Смотрели в оконце на далекую синеву, вспоминали родных, знакомых, суровую, но любимую жизнь и протестующе бились о каменные стены. Но как ни бейся, — нет у тебя даже имени. Только порядковый номер да четыре каменные стены чуть не в метр толщины.

За протест, за отказ от работы наказывали голодом по шестьдесят часов, а потом нередко случалось — угощали горячим, дымящимся хлебом, и это вызывало смерть от несварения желудка.

За пустяк беспощадно избивали. Если число ударов положено „по преступлению“ большое, что можно не вынести, наказание делили на два-три раза. Подживут раны на спине, опять продолжается избиение. „Насмерть — не бить“, — какое милосердие! Но били и заведомо насмерть. Тюремный врач в таком случае отмечал что-нибудь в роде „разрыв сердца“ или, если смерть происходила от разбитых легких уже в больнице, — от „скоротечной чахотки“ и т. д.

А сколько на „свободе“ перебито и искалечено людей! Расстреливали целые города, вешали целые села. Но на могилах, на костях убитых годами росла революционность масс. В лесах организовались маевки; в халупах, в укромных уголках мастерских нередко велись тихие, но волнующие беседы. Профессионалы-революционеры работали в пропагандистских кружках, знакомили с марксизмом, организовывали массы.

И время для боев пришло...

В другом каземате я натолкнулся на интересный рисунок позднейшего периода. Несколько красногвардейцев расстреливают военное аристократическое лицо.

Под рисунком многозначительные стихи:

—Века непобедимым зверем  
Ты насмерть нас душил в борьбе.  
Какою мерою ты мерил,  
Такой отмеряем тебе.

Последние две строчки замечательны по своей внутренней сущности. Поэт и художник чрезвычайно четко показал стихийную сторону революции. Но ведь она — не месть. Не только разрушение, но и создание. Мне очень хотелось доработать картину или видеть рядом с ней другую — организованные рабочие массы, рычаги гигантских машин, тракторы и т. д. Показать труд, по идеям и темпам невиданный в мире.

Я вышел на улицу. На двухэтажном здании вывеска:

ТРАКТОРОЦЕНТР  
РАЙОННАЯ ТУТАЕВСКАЯ МТС

Картину доработала жизнь, масса. Но сколько лет суровой борьбы, жертв потребовалось, чтоб увидеть на тюрьме эту незатейливую вывеску.

Пленниками старых казематов являются... хомуты, веревки, бочки с горючим, запасные машинные части и т. д. И не только история революции, она сама здесь в „каждой мелочи“, и с каждой мелочью идет на полевой фронт, поднимает по-ударному показатели, и невероятно быстро перерастает в социализм, в коммунизм.

Была тюрьма не только тутаевская, а другая — огромнейшая с названием кратким „Русь“, где душилась вся трудовая масса. Но поднялась возмущенная, организованная, билась насмерть, „дорабатывала картину“. И вот после десятка с лишним лет — качество: Русь превратилась в огромнейшую МТС, именуемую 1040.

В нижнем этаже, из которого только-что вышел, — кладовые. На окнах старые, но добротные решетки. Вверху контора и квартиры...

Вокруг проходила когда-то высочайшая кирпичная ограда, но от нее сейчас не осталось и следа.

В стороне поднимаются на столбах новые белые навесы для машин. Журчат тракторы, разрабатывают 9 га земли под вику для 6 станционных лошадей...

## Массовая встреча

Тутаев раскинулся на прибрежных холмах Волги.

На правой стороне, у подножия города, с шумом пенистых волн и убежавших пароходов сливается шум льно-ткацкой фабрики „Тульма“. От фабрики бежит темная змея горячей воды и в зимнее время не дает волжской ледяной простыне связаться с берегом.

На этой стороне — вокзал, — связь с крупными промышленными центрами.

Направо Тутаев имеет тринадцать сельсоветов. Налево — пятнадцать. Кверху — Рыбинск. Книзу — Ярославль. МТС расположилась на краю левой части города. Свою работу развивала пока только на этой стороне.

Район считался „бедняцким“. Почва глинистая и серая. Отчеты говорят: „Организцию МТС в Тутаевском районе Трактороцентр встретил отрицательно“. Находили: и „рельеф массива неподходящ“ и „коллективизировано только 6½%“.

Левая часть глухая. Леса и „столыпинские хуторишки“ тянутся вперемежку километров на 50.

Прошлое примитивно. Пахали мало. Траву снимут — да и в отход, на промыслы. Или же занимались домотканием. Шили так называемые романовские полушубки.

Ткани выдельвали всевозможных цветов. Краска пряжи производилась посредством варки в той или иной древесной коре. Ольховая кора дает, например, светло-коричневый окрас.

Любовно развертывала хозяйка сработанный кусок полотна. Долго, не отвываясь, смотрела, как переливается зелеными, красными, синими и голубыми цветами. Потом запирала в короб и сидя за тканьем другой холстины, мечтательно улыбалась, представляя, как она в новом полыхающем сарафане пойдет встречать на крутой волжский берег мужа-отходника. В этом была жизнь женщины.

Романовские полушубки славились орнаментом, — тоже преимущественно искусство женских рук.

Расшивались разноцветным шелком воротник, полы и карманы. Ползали веселые шелковые узоры, напоминающие то повилику, то какое-то своеобразное бобовое растение. А иногда, смотришь, присядят такие замечательные по своей фигурности лепестки, что они не присущи ни тому ни другому растению, а являются исключительнейшим плодом человеческой фантазии. Но все узоры говорят о большой близости художника с сельской природой и даже характерно подчеркивают однообразие края.

Я спрашиваю, шьют ли сейчас полушубки.

Шьют, но вышивают в исключительных случаях. На это теперь нет времени. Должно, народ стал умней и практичней.

Но все же в зимний период левый участок оторван от всего культурного. Даже с Тутаевым телефоном не связан. Оставить так, — глухомань; долго не проворотишь.

Районные работники не встали втупик. Опять схватились за организацию МТС. Четыре раза ездили в Москву. Бились, доказывали и наконец получили разрешение.

В начале апреля тридцать первого года из Москвы — телеграмма:

„Тридцать семь точка Готовьте массовую встречу“.

Неверие у тутаевцев перемешано с восторгом. С энтузиазмом готовят встречу 37 железным гостям. Плотники около Тульмы



строят мосты, соединяющие ледяные закраины с берегом для перехода тракторов.

Но горсовет подкачал. Была какая-то другая срочная работа, а главное к ней — и большое недомыслие. Плотников связали.

Какая буза поднялась! Может ли что быть важнее встречи тракторов? Летит безоговорочное распоряжение — мобилизовать весь горсовет на постройку мостов. За головоотяпство — под суд! Это было в 2 часа дня. А на другой день в 11 часов должно начаться празднование. Весь горсовет, начиная с председателя, кончая курьером, вылетел, вооруженный топорами, на ледяное поле.

Завернул мороз. Подсыпал снежок. Кипела работа и день и ночь без перерыва.

Сапоги и одежда намокли, обледенели.

Луна со своей серебристой, полуснежной осыпью холодна и далека.

Костры, поднявшиеся над берегом, согревали не надолго. Да и нельзя часто от работы отрываться. К утру некоторые „плотники“ падали в изнеможении на берегу.

Это была настоящая ударная работа. Мосты во-время готовы. Плотничавший со „вчерашнего дня“ директор МТС тов. Шпи-ков забегал у тракторов.

Вода в радиаторах замерзла. Началось разогревание.

Руки от ударной стройки — в кровавых мозолях; ноги от усталости задевают одна за другую, спотыкаются.

На другой стороне бесконечные волны демонстрантов. Гудят.

Крестьянство собралось со всего района. На алых трепещущих полотнищах лозунги: „Лен — основная культура“, „Трактор и лен переродят наш район“ и т. д.

У Тульмы зажурчали тракторы.

Левый берег заволновался, мощно и радостно басил:

Идут, идут!..

Звук сливался, и по речной ложбине непрерывно раскатывалось: у-у-у-у-т... у-у-у-у-т, пока не замерло в разных направлениях — к Рыбинску и к Ярославлю.

Тракторы подошли к берегу, один за другим поднимались в длинную обледенелую гору.

Многие забеспокоились:

— Не взойдут! Не взойдут!

— Ведь она вон какая! Четверть километра!

Но машины ровно и покойно шли на второй скорости. Их голоса не срывались. И только последний на конце горы забуксовал.

Колхозники дружно навалились:

— Ну, ну, дурак, давай! — и грудью вытолкнули на гору.

На лицах — восторг. Глядя на тракторную колонну, бородачи довольно крикают:

— Вот это да!

Машины выдержали испытание.

Горячо говорил т. Шпиков:

— У нас много залежей. Мы пахать не хотели. Сенцом ба-  
ловались — и бедняли. У нас чересполосица и хуторские участки.  
Трактор — революционная машина. Ему на таких участках тесно.  
Даешь сплошняк! Даешь коллективизацию!

И район отвечал:

— Даешь!

Второй раз от усталости Шпиков не мог говорить. Ноги в об-  
леденых валенках тяжелы как гири. Дома не был ровно сутки,  
не ел. Пришло к скамье, — не поднимешься. Но кое-как встал.

Массовый гул:

— Качать Шпикова, качать!

Подбрасывали... подбрасывали до забытья.

И кажется Шпикову, что он не на руках колхозников, а в  
мягких волжских волнах качается. Мелькнуло даже: не утонуть бы

Но он „не утонул“.

Влияние МТС чрезвычайно быстро росло. Вместе с ним росла  
коллективизация. К 15 июня 1931 года в районе деятельности  
станции было в колхозах не 6,5, а 75,3% хозяйств. В отдельных  
сельсоветах процент поднялся до 99.

Тракторы произвели революцию.

## Новый массовик

Начали работать церковники с разными юмористическими ста-  
риками. Церковная сторожка — в роде антисоветской избы-чи-  
тальни. Из нее затаскивали всяческую провокацию в кол-  
хозы. Шли разговоры, что „Сталина убили, но только это скрывают“.  
„В председатели колхозов насаждают партийных и... их объявят  
помещиками“ и т. д.

Парторганизация поняла, что церковный фронт был заброшен.  
Двинула антирелигиозную армию.

Массовая кампания дала большие результаты. В короткое  
время путем поголовной подписки населения закрылось одиннад-  
цать церквей.

Работники МТС бились день и ночь. По выражению некото-  
рых — дороги у них „зубастые“. На каждом шагу в телеге прискаки-  
ваешь. Кусаются. Ремонтировали. По направлению к Курякинскому  
сельсовету — на расстоянии в 25 километров от Тутаева настроено  
больше двух десятков мостов. Создавали связь. Телефонные столбы  
поднимались и белели, как огромнейшие свечи, в роде обещанной  
кулаком небесам в трудную минуту в одной из басен Бедного:  
не свечки, а мачты. Но проволокой еще не связаны. Скобок нет.

Развозилось горючее на пятнадцать участков.

Пятнадцать тракторных отрядов отправлялись на подводах. На  
одной лежали колеса. На другой — моторы. На третьей — остова.

Все это делалось в короткий промежуток, перед второй боль-  
шевистской весной. Дни ударные — считанные.

Первого мая — пробный выезд в поле...

Я иду в сельсоветы „посмотреть достижения“.

У меня — попутчик. Молодой, веселый парень — полевод, не по годам ученый. Бегло и коротко рассказывает о многом.

Нет, вы послушайте, как мы радио живого массовика подменили. Радио у нас — это новый массовик, хороший работник. Наверно слышали? — Курякинский сельсовет коллективизирован на 93,5%; по территории он является „центром левого края“. Мы и решили его радиофицировать. Быстро транслировали 4 колхоза: „Путиловка“, „1-е мая“, „Прожектор“, „Добролюбец“.

На торжественном открытии, как и при встрече тракторов, опять сошелся весь район.

— Алло! Говорит Москва.

Качают мужики головами:

— Батюшки!

Разводят руками женщины:

— Матушки!

С неподдельным удивлением слушают лучших ораторов и артистов центра.

И снова заговорило:

— Алло! Все ли имеют акции Трактороцентра?

А тракторы тут же на демонстрации стоят. Это было первое наше диво. Теперь новому удивлению нет конца.

У мужиков прямо как камнем в мозгу высекло. Словно формулу после повторили:

— МТС организуется только в трех районах, где население само приняло участие в их создании, помогло государству.

Многие интересовались:

— А сколько у нас собрано?

— 89 тысяч рублей.

— И еще можно бы?

— Ясно.

И пошло по сельсоветам:

— Подписывайтесь, помогайте! Себе же!

— Слышали, что говорит Москва?

Вечером сосед соседа на доуге спрашивал:

— Ты, кажется, ни одной не купил?

— А я думал — ты.

Многие мужики переругались.

Усердно в каждой деревне выявлялись несознательные.

В итоге еще подписались приблизительно на 25 тысяч рублей.

Радио — хороший массовик...

Я с интересом рассматривал полевода.

Давно ли многие агрономы дальше своей специализации не шли. От общественного дела их воротило. А в этом так и пробивается горячая жилка, которая говорит о большой, широкой активности. Его нигде не удержишь, его все интересуется. Своеобразный тип. Новый массовик. Он рассказывал об одном, а я открыл другого.

## „Тайна“

В чем дело? Внешне как-будто сказочно легко доставались туташцам победы. Радио толкает на сбор 25 тысяч рублей... МТС вероятно быстро подняла показатели коллективизации на 75%.

Ведь ясно, что техника в руках класса, реконструирующего свое хозяйство на социалистических началах, является революционно-массовым оружием классовой борьбы.

Нужна была длительная, упорнейшая работа, чтобы массы поднялись до этого. За массовый рост организации бились крепко.

Не считая всевозможных совещаний агро- и политработ колхозсоюза, земотдела, только МТС под руководством партии в период подготовки и во время посевной провела с деревней 1188 конференций, собраний и т. д. Из них: с женщинами — колхозницами и единоличниками — 60, с беднотой и активом середняков — 61, с молодежью — 60. Производственных совещаний в колхозах при проработке договора МТС — 170.

Широких собраний колхозников и единоличников по подготовке посевной — 168. Производственных совещаний в колхозах по тому же вопросу — 177. При генеральной проверке подготовки к севу все 169 и т. д. И множество собраний самого разнообразного порядка, трудно перечислить.

Сюда не входит чрезвычайно сложная, новая для района работа по подготовке кадров.

Тут опять работали над батраком, бедняком и середняком. И подготовка кадров почти так же широко была развернута, как и массовая работа.

А 1188 — цифра не маленькая.

Это значит — на каждом собрании или совещании после разных колебаний и срывов задавалось чуть не тысяча как-будто до ужаса простых крестьянских вопросов, обсасывались они до косточки, до того, что пот выступал на лбу у всех собравшихся, лица темнели от махры и волнений. Наконец, вопросы один за другим медленно разрешались.

Массы горячо учились, вырастали.

Мужицкая практичность постепенно становилась огромнейшей общественно-революционной практичностью.

„Глухомань“ сама стала устраивать дела величайшей культурности.

Я сижу в сельской чайнушке. Со мной все тот же молодой полевод.

Мы разговариваем о литературе.

Оказывается, он большой любитель: пишет стихи. Долго я просил прочесть что-нибудь. Он робко отмахивался. Наконец, вытащил из кармана на груди записную книжку, отыскал в ней вчетверо сложенный листок развернул и прочел:

## ПОВОРОТ

Я раздражен мужичьим сходом.  
Их мысль на все наводит тень.  
Пред нашим тракторным походом  
Вставал невежества плетень.

Вела работу вражья сила  
И день и ночь исподтишка,  
И часто бедность говорила  
Умком соседа-кулака.

Но, как машин летящих стая  
Седую гущу облаков,  
Мы смелой речью пробиваем  
Любые сети кулаков.

Не быть деревне на распутьи,  
Гудит, как от удара медь:  
— Опять кулак-то свой хомутик  
На шею нам хотел надеть!

И поднялись колхозным строем,  
И крепко чистку провели:  
— Своей рукою перестроим  
Лицо деревни и земли!

Кипит ударная работа,  
И трактора ревут, горят.  
И ни штыком, ни пулеметом  
Деревню не вернуть назад.

Я похвалил. Мы долго говорили о работе над стихом. Он теоретически был достаточно подготовлен.

В чайной сидели мужики. Некоторые прислушались к нашему разговору. Молчали. Другие тихо разговаривали о чем-то своем.

Под боковым окном чайнушки — роща. Подошел вечер. В комнате лесные тени. Неохота уходить. Можно тут же остаться на ночевку. Я пожал на прощанье полеводу руку, перешел в соседнюю комнату и устроился на столе.

### „Мы — не овцы“...

Чем революционной массы, тем ожесточенней классовая борьба...

Колхоз „Трудовик“ быстро очистился от пробравшихся паразитов, выкинул 23 хозяйства. А сосед его — колхоз „Победа Октября“ — д. Мазнино этого своевременно не сумел сделать. А кулаки пробрались под видом середняков и даже хозяйничали в нем.

Председатель колхоза Соколов — пьяница — спаивался ими и был целиком у них в руках.

Об этом исключительно в худшем положении не знали даже в районе до начала мая. А в мае назрело и прорвалось.

В центре деревни стоит дом Парамонова Максима. Передняя половина — кирпичная. Задняя — из ровного бревна. Крыт раскрашенной черепицей. Чисто, светло, уютно в горнице. Напротив — двор для мелкого скота.

Романовская овца высунула белолобую голову в крохотное окошко. Головка недвижна как изваяние, и только присмотревшись внимательно, замечаешь, что она жует жвачку.

Смеется в окно Парамонов:

— Что хочу, то и сделаю. Хоть голову этой овце срублю. Потому сами-то колхозники, словно овцы, ничего не понимают. Все сойдет! А не справлюсь, — у меня есть племянник Алексей, друзья Арсентьевы Иван и Степан. А то и колхознику можно... тово... голову-то, как овце...

Просился в колхоз бедняк Папушев. Ответили: „У тебя семян нет, и семья велика. Такие нам в колхоз не нужны“.

Работал в колхозе селькор Метелкин. Боевой парень. И он и его жена политически воспитанные, чуткие.

Пришел к ним со своим горем Папушев. Долго возмущались. Парамонов старшим рабочим в колхозе, но спол Соколова, и теперь все у него в руках. Вспоминали прошлое Парамонова. Такое положение нетерпимо. Метелкин с женой сходили в город, и 5 мая в „Тутаевском ударнике“ был напечатан материал. Набралось много всего.

Парамонов все время держал двух работниц. На зоостанции снимал подряды, а выполнял их наемными рабочими. Бедняка Воробьева заставил раскорчевать свою сечу на кабальных условиях. Гнал „самогон“ и спаивал крестьян. Тесно связан родственными узами с ярославскими фабрикантами Вахромеевыми, доставал через них товары — соль, сукна — и торговал по деревням. А сейчас этот деревенский воротила в колхозе. Являясь старшим рабочим, беднякам буквально не дает покоя. Грозит побоями, ругает нецензурно. Пора было раскусить этого сокола. Вскрыл Метелкин с женой настоящий облик паразита.

Поднялись в районе. Поднялись в сельсовете.

— Вон какой гусь у нас в колхозе оставался?!

8 мая собрался колхоз „Победа Октября“ и с треском вычистил Парамонова Максима, а к нему прихватил и друга — кулака Арсентьева Ивана.

Грустно, с глазами, полными обреченности, размышлял вслух Парамонов:

— Были всем, теперь — ничем.

— Да, нуль, нуль и ничего, — так же грустно поддерживал Арсентьев.

Поднималась ненависть. Открыто грозили Метелкину с женой, Папушеву.

А положение сразу ухудшилось. Кулаки, как звери, жестоки, Их ненависть беспощадна; росла по часам.

— Будет и наша расправа, — скрипели зубами.

И они выбрали момент. Устроили звериное дело: убили Метелкина и ранили Папушева.

Поправился Папушев. Спрашивают: как было дело у вас? Гневом перекосило лицо.

— Вот змеи!..

— Я был тогда у Метелкина, „они“ подослали пьяного председателя колхоза Соколова. Качается. Зовет к шабру, там нечто большое случилось, а что — не сообщает. Мы переглянулись: узнать? Дошли, — огня нет. А рядом дом Парамонова Максима. Соколов постучал туда, — его впустили.

Мы повернули обратно. Но выбежали Парамонов Алексей, Арсентьев Степан и кто-то еще третий. Парамонов меня — колом, потом ножом в лоб. Догнал Арсентьев, тоже — ножом сзади в плечо. Рванулся я вокруг дома, никого нет. Вижу — Метелкин лежит мертвым с ранами на лбу и на всей голове.

Это произошло через три дня после чистки, в ночь на 11 мая. В колхозах поднимался гнев:

— Уничтожить мерзавцев! Своими руками с радостью бы расстреляли...

Этот момент заставил всех оглядеться внутри своих колхозов.

Так в жестокой борьбе с классовым врагом укреплялись колхозы.

## Ударный „Трудовик“

Посевная началась на высоких землях. Производили фигурную распашку трактора. И в разгар работы то тут, то там можно слышать широкую песню боронильщиков, часто сливавшуюся с голосом мотора.

На полях ширилось социалистическое соревнование. Вызывали сначала боронильщик боронильщика. Дальше-больше, бригада с бригадой, куст с кустом, колхоз с колхозом, сельсовет с сельсоветом.

„Мы, колхозники „Трудовика“, Курякинский сельсовет, — объявляем себя ударниками имени 518 и 1040 и вызываем на соревнование Богородский сельсовет“...

Колхоз „Трудовик“ — большой, 288 хозяйств. Мужчин 102, женщин 207. Подростков 28. Возник в 1929 году. Сначала было шесть хозяйств, но постепенно возрастал, укреплялся и превратился в объединение с десятью кустами. Бригады в посевную, комбинировались по боронованию, севу и т. д. И в зависимости от величины дела менялся их количественный состав. Все время в движении перебрасывались с участка на участок. Женщины на ряду с мужчинами — на тяжелых работах. Подростки — на легких. Некоторых не брали, но ребята сами организовались в бригады и требовали дела.

В Богородском сельсовете шла шумная массовая работа по коллективизации, подготовке к посевной, организация труда в колхозах, и скоро они по-боевому ответили на вызов:

„Товарищи трудовиковцы! По примеру нас объявляем себя ударниками имени 518 и 1040. У нас сейчас организовано 13 колхозов, 346 хозяйств, или 86%. В начале посевной кампании закончим коллективизацию. Посев льна со 108 га в этом году расширяем до 224 га. Наши колхозы перешли на сдельщину. Сформированы бригады; для них организованы курсы. Развертываем соцсоревнование, ударничество между колхозами и колхозниками“.

Опять зашумели в „Трудовике“:

— По областному заданию льна мы должны посеять 22 га, по районному — 240 га, а наш встречный — 300 га. Выполним?

— Выполним. Но у нас опущение: куст с кустом не заключили еще договора на соревнование.

— А трудовые-то книжки на всех ли есть?

Идет ударнейшая работа. Шумят в кустах. Заключают договоры.

„Мы, колхозники Косяковского куста, заключили договор с Анофринским“.

„Мы, Елантьевский куст, — с Коноворовским“ и т. д. „Перевыполним план на 20%. По-боевому будем поддерживать дисциплину. Оказывать полную поддержку в работе тракторам. Заканчить сев к шестому июля“ и т. д и т. д.

Счетоводство кустового объединения спешно раздает трудкнижки. В книжках запись не „слепая“; видно, за что трудодни помечены. Но и без ошибок не обошлось.

В правление прибегает боронильщица, запыленная, горячая:

— Почему же мне вчёр, как и позавчёр, записали один трудодень? Позавчёр я один гектар заборонила, а вчёр — почти полтора гектара; и работа — лучше.

Ошибка исправлена.

Укрепляется сдельщина. Ее хорошо понимает каждая женщина.

Мобилизованы „художественные силы“, избач; он умело рисует.

На стене в правлении несколько сажен заняли образные показатели.

Взвивается в голубые облака белоснежный аэроплан, синеватый дымок мягко обволакивает лазурь. Это — Колчаковский куст; он план сева по льну уже выполнил на 132,7%.

Летит зелеными полями паровоз, разбрасывает космы дыма с золотистыми искрами, и падают не искры, а полные, свежие зерна. Ударный посевщик — Луховининский куст. План выполнил на 121%.

Богдановский — очень живописный, скачущий конь, — 120%.

Анофринский — пестрая курица, — 113%.

Голперовский — черепаха, — 109,6%.

Коноворовский — улита, — 109% и т. д.

Кусты, выполнившие планы на 109% и больше, „посажены“ на улиту, на черепаху! Удивительно! Но по сравнению с другими кустами колхозникам даже эти сверхплановые темпы казались черепашьими. Так сильно было развито соревнование. Так невероятно высоки были темпы.

Говорят — лучших нужно премировать. Шумят по кустам.

Кто же лучше всех работал? Каждый ломил чуть не за двоих.



Раньше смотришь — сплошь целина, а теперь выйдешь — сплошь посевы. Сколько залежей перевернули!

Единоличники сначала смеялись:

— Валяйте, валяйте! Пахтайтесь! А мы травку снимем, денежки за нее — в карман. Да и к вам в колхоз. А вы еще обязаны нам тогда сказать: „добро пожаловать“. Прием, как хорошим гостям.

Жалуется сельсовет:

— Что делать? Единоличники съедают у нас показатели. Колхозы план перевыполнили, а у них 30, 50, много 70%. Глядишь, — и по общей сводке процент снижается. Всякие меры принимали, ничего не помогает.

Нервировало это и колхозников. Толкуют на собраниях:

— Нужно добиться выполнения плана и по индивидуальному сектору. Не хотят? Не пустовать земле!

Общественные запашки. Все облегченно вздохнули. Слово нехватало чего-то крайне нужного, искали, и вдруг оно нашлось.

— Вот это да! Новая мысль!

И пошла работа. Ревут тракторы. Косятся на рысистом ходу крепкие лошади.

— Ну, сумасшедшие! — разводят руками одни индивидуальники. Стоят другие с открытыми ртами. Качают третьи головами:

— Непонятно, откуда их только прорвало нынче! Поставь гору, — своротят.

Тосковали более жадные:

— Вот тебе и травка! Вот тебе и деньги!

В одну пятидневку управились колхозы с индивидуальной землей. Тут запахано 5 га в пользу МОПР, тут — 7 га на оборону страны и т. д. А по району много-много такой „сверхплановой работы“ выполнено. Поднимает „индивидуальная земля“ общественный ленок. Смеясь, ласкает его теплый ветер; не поет, а пошоптывает какую-то новую песню, словно колхозный парень девушку индивидуалку уговаривает.

Шумят в Колочковском кусте „Трудовика“. Одни женщины. Мужчин было девять человек. Часть взята на курсы трактористов, двое в лесничих, один счетоводом в колхозе, и все. Женщина — голова.

Полна крепкой молодости Макарова Аграфена Степановна, крупная, чернобровая, веселая. На руках ребенка держит, смехом заливается, играет с ним. 26 лет ей. Все колхозницы — ее подруги. Ко всем чутка. А на деле — беда! Под руку без толку не подвернись, кольнет. В свое время первая заговорила об общественной обработке земли индивидуальников:

— Что, все нянчиться с ними? В колхоз не идут, сами не работают, только насмеваются.

Потянула шире, больше; и начались общественные обработки.

Это огромнейший плюс Макаровой, которого не имеют не только многие женщины, но и мужчины.

На тяжелой мужичьей работе, имея ребенка, она выработала 28 трудодней в месяц.

Геройка!

И получила Аграфена Степановна в качестве премии новенькие полусапожки, ходит — поскрипывает.

Таких лучших ударников в „Трудовике“ нашлось ни много, ни мало — 52 человека.

Всех премировали: кому кожаную обувь, кому отрез ситца.

Хороший, крепкий колхоз „Трудовик“.

Я посмотрел молочную ферму. На дворе — чистота. Ярославки — на подбор — 30 штук. Через стену — молодняк. К январю будет дойных коров не менее 120.

Заглянул на другой двор. Кролиководством занимаются. Шмыгают „венско-голубые“, „шеншелы“. Ухаживают за ними ребята; растут специалисты-кролиководы.

И на следующем дворе опять новость. Куроводству уделяют больше внимание. Шумят, плещут крыльями разные породы. Тут тебе „белый виандот“, „метисы“, „леггорны“. Нынче около сотни несушек. В будущий год будет в 10 раз больше.

Свинарник устроен. 9 маток, 4 хряка и 7 штук молодых. Пасет и обхаживает свиней одна старуха, которой, как утверждают, не меньше 100 лет. Начинает работу в пять часов утра, кончает в 8 вечера. Самый меньший день у нее выходит 12 часов. И ничего, все хорошо пока. Так и живет почти с ними. Ей говорят: — Бабушка, тебе смену бы надо, отдохнула бы дома!

Отмахивается:

— Ну, вот! Я, бывало по восемнадцати часов работала, а чичас што? Как девка гуляю.

## Трактористы

Я стоял со старшим рулевым Жуковым, работавшим на Курякинском участке.

Его речь проста:

— Мы—трактористы можно сказать, все тутаевской выпечки. Деревенские парни прошли при своей МТС краткосрочные курсы. Перед посевной на производственном совещании объявились ударниками. Самозакрепились до конца пятилетки. Норма дана 2 га залежи и целины на 20 часов; а если мягкая земля,—за это время нужно вспахать 4 га. Тракторы у нас все „путиловцы“. Прицепные орудия легкие, больше пароконки. Это не так гоже!

— Мы на курсах,— продолжал он,— подготовились крепко. А вышли на дело, сначала и не то. Трактор, глядишь, нет-нет и вильнет в сторону. Но скоро окрепли и на работе. Худо со спецвой. Сапог нет. А лапоть оденешь, обольешь случайно горячим, из машины выскочит огонь,—пропал в два счета, не успеешь веревки размотать, сгоришь. Поэтому лапоть мы и не носим. Но и

спецовка—плевать! Главное, — работа. Некоторые оказались плохими трактористами. Мы сами требовали их увольнения. Работа бригады не должна страдать от таких. По правилу у нас должны быть три смены, по 8 часов каждая. А мы многие шпарили в две, по 10½ часов, — это 21 час; 3 часа — на приправку... А иногда на приправку уходило не больше одного часа, а 23 — на распашку. Чем-нибудь надо было брать-то.

Мы не заметили, как подошел младший рулевой Шибанов. Вмешался:

— А что взяли? Посмотри на круговую вспашку. Какой вид-то!

Вид был хороший. Правда, у концов и в середине остались недоработанные кусочки, на которых трактору не повернуться. Легко закончить на лошади. Но Шибанов говорил именно о них:

— Весь вид портят.

— Вид видом, а нужно качества добиваться, — спокойно заметил Жуков, очевидно находя, что эти два момента могут быть совершенно обособлены один от другого.

После, в МТС я поинтересовался, как работает бригада Жукова.

Производительность — 3 га целины за 20 часов, расход горючего против нормы меньше на 9 килограммов. Показатели хорошие. Он работал в две смены.

Любят трактористы машину. Круглые сутки живут около нее. Спят тут же. За посевную промаслились, почернели, обросли.

Колхозники говорят:

— Квартиры бы вам надо!

Они искренно не понимают предложения:

— Мы же у машины живем, в поле-то лучше! — а нутром хорошо знают: так нужно, чтоб не снижать темпы.

Машина с поля лишней раз не будет гоняться, расстояние, глядишь, ведь до колхоза не маленькое. А вдруг да на этом месте и случится поломка. И перерасхода горючего нет.

Нет, ночевка в поле это — рационализация посевной...

Мутна при полной луне деревушка.

Время за полночь.

Парни и девки разгулялись. Сыплют смехом и частушками. А в поле бормочет трактор, и иногда бормотание переходит словно в гневный ропот. Слышать не хочет молодой тракторист, как разгулялась „его подроща“. Надо работать. Растет, напластовывается круг за кругом. А на заре из зеленой борозды поднимается смена. А работавший ночь как убитый свалится на „освободившееся место“, которому по существу нет конца-края.

Упорно бились за вторую большевистскую трактористы.

Я живу в Великосельском сельсовете у полевода Абрамова. Тут же на полу молодые ребята в промасленных фуфайках, — трактористы.

Толкуют, что одна из основных бед — нет под руками запа-

сных частей тракторов и ремонтной мастерской. Сломался пустяк — нужно в Тутаев, а то и в Ярославль. Глядишь — большой простой.

Хорошо знают, что делается на участках других сельсоветов.

— Вот в Курякине, — говорит тракторист Голиков, — есть кузнец Александр Кузьмич, старик 74 лет, а спец — что надо, на „большой палец“.

Но Голиков целиком все же не знал Александра Кузьмича. Хотелось вмешаться.

— Когда я был в Курякине, мне пришлось немного побеседовать с этим „спецом“. Очень зазнаистый старикашка, знающий себе цену. Хочет работает, хочет нет. В колхоз не идет. Говорит: „там что ни день, то новые законы“. А мобилизовать его, когда нужно, нельзя: 74, — нетрудоспособен. Но если работает, то с каким-то своеобразным сознанием — закончить работу получше. А тракторы старик любит. Не так давно у проезжавшего работника ГПУ сломалась ось. Просим починить, — отказался, потому что в этот момент выработывал часть к трактору, который нужно было срочно двинуть на работу. Ни длительная просьба, ни угроза арестом не помогала.

— Арестуй, не жаль, все равно колхозники меня выкупят. Я им во как нужен!

И наконец, после часовых обхаживаний старик все же сдался, ось починил.

Любую часть к трактору с микроскопической точностью выделяет. Он не раз уверенно говорил молодежи, что для него ничего не стоило бы и новый трактор сварганить. Но вот какую силу в него вкладывать, — это вопрос.

Мучался ли над этим вопросом Александр Кузьмич, — неизвестно. Но в том, что он способен новый трактор сделать, — в округе никто не сомневался.

И Голиков не зря завидовал курякинцам; на его участке даже и не такого знаменитого кузнеца не было. А полом — это бич, срывающий посевную.

Но ребята, быстро откинув все серьезное, тешились комичными моментами.

Посмеивались над Голиковым:

— А ну, расскажи, как у тебя Ванька в канаву заехал.

Но вместо Голикова рассказывает его сменщик:

— Сменился он и лег спать на траве. И вот я остановил машину. А мы и сквозь сон почти всегда слышим, что машина встала. Чутко спим. Иногда вскочишь да бежишь: не полом ли? Тогда пропадай работа! И вот в этот раз гляжу на Голикова: почует ли, что стоит машина? А он две ночи перед этим в ряд работал, а днем-то не отдохнул как следует. Ну, сознание у него и кувырнулось. Как поползет на четвереньках, да заорет:

— Ванька, чорт, что ты в канаву-то заехал!

Рядом лежали камни, он и давай их руками раздвигать... Все камни разворочал. Начал я его тормозить. Насилу очухался. Улыбается Голиков. Недавно у него на руке была флегмона

(рожистое воспаление, — получилось от грязи). Температура — под сорок, а он все время работал, и только когда сделали операцию, сказал:

— Что-то сегодня нудно! Пожалуй, не смогу работать.

Полдня не ходил к машине, лежал. А вышел вечером в деревню, колхозники ему и скажи:

— Голиков, что ты разгуливаешь? Ведь машина-то у Ваньки сломалась, срочно увезли в Ярославль.

Задрожал, и лицо зеленым сразу сделалось.

— Не может быть?!

Побежал в поле.

Да так и остался там на ночь работать. Долго после смеялись в деревне.

Но знают трактористы, что в колхозах их уважают, не обижаются на такой смех. Дружеский...

День был жаркий. Ребят потянуло купаться.

Голиков говорит:

— А вот в Слизневском сельсовете колхозники так уважают трактористов, что через каждые два дня баню топят.

— Дак, ведь, не ходят! Все равно выгрязнишься, — замечает другой. — И нам бы топили. Да на што она? Другое дело в речке духоту смахнуть. Пользительно, облегчает.

Я остался с Абрамовым.

— Такие ребята, — замечает он, — что все время бредят машиной. А ведь как работают! Прицепочные орудия легки, накладывают на них тяжести; подсобного материала нет, гаечных ключей и то нехватает, — один на два трактора, так часто за ключом и бегает один к другому километра на два. Бесит их это дьявольски. А есть и колхозы нерасторопные, иль забудут выделить человека для подноса к трактору воды, а это по договору полагается. Ну, и теряют даром время. На днях ко мне во втором часу ночи прибежали:

— Некому воду таскать.

Полетел сам километра на четыре. Поднашивал, встречал с трактористами зарю. Но такие моменты не часты, а то где бы, даже в отдельных случаях, норму чуть не на 200% выполнить. Хорошо, что МТС одну вещь учла: к концу посевной согласно положений Трактороцентра машина должна встать на недельный срок на ремонт. А у нас нашли это положение политически невыгодным. Кулаки могли говорить: „вот, смотрите, — все тракторы стоят, поломались“. Поэтому на ремонт не остановили, а отправили по всем участкам в объезд ремонтно-машинную бригаду.

## За хороший стандарт!

Я вышел на великосельские поля. Рожь стройней и ровней речного камыша, и шелест мягче. Глазом не окинешь.

Принадлежит колхозникам, но не обобществлена. И не однажды в „правлениях“ выражалось опасение: не кинулись бы убирать

неорганизованным путем, могут подорвать другие участки уборочной. По некоторым сельсоветам такой ржи до 200 га и больше.

Вдалеке зеленеют огромнейшие скатерти молодого льна. Его нежные, густые кудерьки от земли поднялись на десяток сантиметров. Многие колхозы начали полку. Нынче ее решили провести повсеместно. Рассыпались, пестреют бригады девушек и подростков полольщиков. Осторожно раздвигается ленок, выбрасываются сорняки, и после полки, смотришь, нет кропнистой прожелти, просини и т. д., а стоит ровная, густущая зелень. Будущее масло и волокно.

Трудодень — 5,40 га.

Большинство полольщиков обрабатывали по 10 га. Спыхватились в колхозах:

— Норма занижена.

Вопрос прожевывался, проварился в утробе производственных совещаний, и норму повысили до 8 га.

У широкого прогона за овинами встретил полевода Абрамова. Он ходил посмотреть работу полольщиков.

Невольно задержался на нем глазами.

Тонкостанный, быстрый парень. Сетка вместо рубахи обтягивала смуглое тело. Ветер раскидывал черные волосы.

Я заговорил с ним об однотипности льна. Он сразу не понял меня.

Пришлось объяснять.

Раньше у нас вырабатывали самых разнообразных видов волокно — и рыжеватое, и белесое, и серое, и темносинее, а по длине — очень неравномерное. А для промышленности и экспорта чрезвычайно важен один тип волокна. Хорошего качества. Это даже их требование.

Сейчас в крупных колхозах можно многое сделать. Ведется ли такая работа или хотя бы пропаганда?

Почесал затылок Абрамов. Криво улыбнулся:

— Никакой! До настоящего времени у нас было только слаще, а нынче думаем перейти и на мочку. Но все еще дедовскими способами. Для однотипности волокна важен завод. А он у нас только строится.

Абрамов понимал узко дело однотипности.

— Важен и завод, но кое-что можно сделать и без завода. Влияют даже сроки посева. Ранние чаще всего дают светлую солому; поздние, наоборот, почти всегда — темно-зеленую. А различная по окраске солома дает и разное волокно. Из светлой получается красивое, светлое; из темно-желтой выходит более темное из темно-зеленой — грязновато-желтое, из бурой — рыже-бурое. Так что даже сортировка льна в зависимости от сроков посева дает возможность получить более однородное и ценное волокно. Но этого мало.

Абрамов оживился:

— Мало, конечно! Цвет волокна может портиться и в мочку при расстиле, и от почвы. Это большое, замечательное дело. Ни

то будет им заняться. У нас есть Чадеев луг... в 6000 га. Немного заболочен, оброс кустишками. Лучшего поля для опытов по однотипности не найдешь! Видите, вот оно!..

Полевод указал в сторону. Там поднимались полупустынные просторы. Желтые цветы, кустишки.

— Весной здесь устраивают шумные слеты тетерева, воркуют и чуфыркают. Но есть места, где гнездятся гуси и журавли. К ним подобраться трудно. Вдруг сорвешься под зеленую крышку по полю, а то и больше. Но таких мест немного. Чадеев луг почти здесь можно бы разработать.

Мы возвращались в Великосельское.

Абрамов увлекся будущими разработками. Рассказывал историю, если можно так выразиться, луга.

— По преданьям дедов в эти места был выслан какой-то революционер Чадеев. Один столетний дед хорошо даже знает место, где стояла усадьба. Сейчас там осталась только огромнейшая яма с водой. Но именем революционера и назван луг.

Приехал директор МТС Шпиков. Он побывал почти на всех участках, где работают тракторные отряды, и сейчас собирался в Гутаев.

Пили втроем чай.

Абрамов продолжал говорить о выработке стандартного льна то уже со Шпиковым. Увлекал его:

— Нет, вы подумайте, Александр Александрович, ведь это великая революция! Луговина-то какая!

У Шпикова тоже загорелись глаза:

— Мы осушим его, обработаем. Вот, подожди, достану пару тракторов „ктерпиллеров“ с 65-пудовыми плугами, и будет такое дело, что ахнут! В колхозах нужно выделить фонды, хотя бы пять процентов с валового дохода, на освоение луга.

— Выделят колхозники, выделят, — уверял Абрамов. — Даже как-то разговоры были об этом!

Полевод и директор расстались возбужденные общей идеей. Они упорно будут воевать за освоение 6000 га.

Из кухни — к буфету  
И снова назад,  
И снова столовка  
Бросается под ноги.  
И все беспокойней  
Большие глаза,  
Что очередь к кассе,  
Что многим не подано.  
Простая работа,  
Как чек на обед,  
И девушка в невидаль  
Тоже не просится.  
Но только какой  
Стопроцентный поэт  
Расскажет о ней,  
Незаметной  
И простенькой?  
В открытые окна  
Соцветья лесов  
И грохот фабричный  
Бросаются.  
И в сердце ударницы  
Тысячи слов  
Горят  
И в огне обрываются.  
И сердце охватит  
Поземкою боль,  
Как вспомнит  
Свои „объективности“...

Что бьется столовка  
С крупы на фасоль,  
И целый прорыв  
С калорийностью.  
И хочется ей,  
Чтоб нарпитовский склад  
Ломился от мяса  
И зелени,  
Чтоб даже старушка  
В утиль отдала  
И примус, и миски  
Кисельные...  
И хочется ей

Из кухни — к буфету  
И снова назад.  
И снова столовка  
Бросается под ноги,  
И все беспокойней  
Большие глаза,  
Что очередь к кассе,  
Что многим не подано...  
Чтобы в тех корпусах  
И там на лесах —  
У строителей  
С обедов нарпитских  
Работа в руках  
Кипела дружной  
И стремительней...



ЭТЮД

...А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок о вас не расскажут, ни песен о вас не споют.

М. Горький.

Улица мягко заросла травой. Посреди ее, опустя низко ветви, стоит большая кряжистая ива, около которой целыми днями, как пчелы у улья, вьются дети.

Окна дома Николая Матвеевича Комарова, разукрашенные причудливыми каличниками, заставленные цветами и затянутые занавесками, которые целых два года вязала жена, сонно глядят на улицу. И такая же сонная до одури жизнь приютилась в стенах этого дома.

Утро. С постели, поправляя свившуюся жгутом вокруг полного тела рубаху, встает жена. Взглянув на часы, она торопливо накидывает платье и, шлепая надетыми на босую ногу чувяками, бежит в кухню, к примусу. Потом бережно относит чашку, наполненную молоком, во двор. Во дворе, приятно радуя глаз, важно расхаживают разные породы кур и гусей, но ей не до них. Сердце женщины наполнено тревогой, и руки торопливо отпирают замок сарая. Еще вчера Надежда Яковлевна заметила, что „Стасик“ стал невеселым: плохо пил молоко, не бегал задорно по своему клетушку, ища выхода.

Когда она вошла, Стасик лежал. Она почувствовала, что сердце ее обдали чем-то горячим, оно на миг как-будто остано-вилось, а потом забилось часто-часто.

— Стасик! — позвала она... Стасик хрюкнул, но продолжал лежать.

— Зря я вчера не сказала о нем Коле... Теперь сказать — расстроится, — подумала она и, поставив чашку с молоком, стала щекотать свинье за ушами. Стасик хрюкнул еще раз, поднялся и стал пить молоко.

— Ну и слава богу! — оживилась она. — А я думала что-нибудь серьезное.

Внезапное довольство собой охватило тело. Шмыгнув по сараю взглядом, она невольно подумала: „Дров запасено — года на два хватит, а к рождеству Стасик вырастет — своя свинина будет“. Да и в чуланах приютился многолетний запас разных продуктов и начинающей уже горкнуть муки. Правда, мука смущала хозяйское сердце, но рассудок успокаивал: „Настанет голод и этой муке рад будешь, а если немного продашь, так все долги вернешь и хлопоты оправдаешь. На государство надежда плохая — главки себе нахапают, а на народ наплевать“...

В кухне закипевший кофейник притушил огонь, и примус сердито зашипел. От шипенья его проснулся и Николай Матвеевич, крикнул жену, но, не получив ответа, побежал в кухню...

— А я уже пять яичек сняла, — услышал он за спиной голос жены...

За чаем Николай Матвеевич не утерпел, чтобы не погоревать:

— Эх!.. И чайку-то крепкого теперь с наслаждением не попьешь, дают мало, да и вода из водопровода. Она хотя и очищается, но на реке и коровы гуляют, пьют и... вообще некультурное животное. То ли дело раньше — вода колодезная, ключевая; попьешь — даже в горле щекочет от удовольствия...

Жена вздохнула, но промолчала, решая вопрос: сказать мужу о Стасике или же не стоит его расстраивать.

Проводивши мужа на службу, она побежала в город узнавать, не дают ли чего в магазинах. Если вещь сейчас не пригодится, пусть лежит — не хлеба просит.



В газете Матвеевич любил читать отдел „С песочком“. Остальному не верил.

— Связались они с пятилеткой, только о ней и пишут, а нет чтобы позаботиться молоко и масло дешевле сделать... Управители тоже!..

Вот и сегодня, открыв газету, он сразу оживился. Небольшие глаза засияли, губы расплылись в улыбку и краска помолодила лицо.

„Ишь ты, коммунист, а пьяница... И здорово ведь расписали!“ — подумал он.

— Миша! Прочти-ка на третьей странице статейку, полюбуйся на защитников трудящихся, — обратился он к кандидату месткома.

Миша в вытертой, на левом рукаве разорванной куртке, не отрываясь от газеты, заметил:

— Не мало прилипает грязи к тому, кто впервые прокладывает дорогу, так и в партии не без этого. Ты лучше подсчитай, как растет количество фабрик и заводов, перевыполнивших промфинплан.

— С подсчетов сыт не будешь... Раньше без промфинпланов в десять раз лучше жили, — ответил досадливо, отодвигая газету в сторону и маленькими глотками принялся пить из стакана.

Донимать Мишу вопросами Николаю Матвеевичу нравилось. Какое-то скрытое злорадство жило в груди против этого молодого парня, против его энергии, с какой он всегда проводил порученные ему месткомом дела. Миша же старался как можно спокойнее отвечать на ехидные вопросы и этим разбить всю нелепость мышления товарища по службе.

— У тебя все не так, — начал он, отрываясь от газеты и глядя в упор на Матвеевича. — А ты хоть одно предложение внес, которое бы улучшило или помогло улучшить хоть ничтожный участок работы?

— Что мне предложения-то вносить, я не двести пятьдесят получаю, есть люди специально для этого посаженные — пусть они и заботятся.

— А вы на готовое?..

„Да что я с ним связался... У него голодным сидеть, разутым ходить не беда, лишь бы все строилось... С ним говорить — только расстраиваться“, решил он и проговорил:

— Теперь языку молодых что прежняя казацкая нагайка, разве переспоришь... — и начал усиленно вертеть ручку арифмометра. Несмазанный арифмометр огрызался как голодная собака, и от этого было больно ушам.

„Ругать и ныть такие люди умеют, но помогать их нет. А вот когда будет масло и сахар, они будут хвалить жизнь, но все равно для нее не сделают и капли полезного. Такой уж разряд людей: масленого да сладенького подай, а работы не спрашивай — спину ломит“, — подумал брезгливо Миша и принялся подсчитывать оборотную ведомость.

Весь остаток дня дурное настроение не покидало Матвеевича. А когда он шел домой, в конце улицы промчавшийся автобус обдал его пылью, и это подбавило еще горечи.

— Черти!.. Автобусов нагнали, весь город пылью обсыпают, а мыла не дают.

Дома, как только переступил порог, эту горечь угнала жена своими словами, которые прозвучали для него как музыка:

— Коля, поздравляю тебя с прибылью! Из яиц вывелось семь цыплят. Значит, обзаведемся еще минорочками.

— Ай да пеструшечка-вострушечка, не подкачала!.. — и от умиления он даже поцеловал жену.

— Я сегодня в мясной лавке в очереди простояла и все из-за мелких денег, — продолжала щебетать жена.

— Чем стоять, взяла бы мелочи, ведь у нас ее много...

— Растрянжирить готовое всегда сумеем.

— А знаешь, Надюсик, я решил вступить в члены птицеводного товарищества.

Она нахмурилась и решила, что ее муж начинает говорить не дело: то деньги мелкие отдай, когда в них везде нужда, то записаться в товарищество... Шутка ли: ходить на собрания, платить членские взносы, да еще делать что-нибудь заставят, — это значит, что хозяйство останется без присмотра... И только последние слова мужа остановили поток разливающегося горя:

— В товариществе на каждую курочку дают овса по твердым ценам...

Жена примиряюще застучала тарелками и принялась резать хлеб.



„С политикой что с фальшивой монетой: свяжешься — забот не оберешься“ — говаривал Матвеевич и шел краешком жизни медленно, наугад, как слепой по изрытой дороге. А поэтому и явления

обрушивались неожиданно, вселяя растерянность, из которой рождалась злость.

— Ох уж эти займы... Скоро ли им конец будет!.. — измученным голосом, словно у него только-что вытащили зуб, отозвался Матвеевич, прочтя повестку о собрании, на которой стоял вопрос о подписке на заем „пятилетка в четыре года“.

— Купить-то купил облигации, а насчет продажи и не заикайся. Прошлый заем весь на сто процентов цел. Обращался два раза в комиссию, продать не разрешают. Так и лежит эта двадцатипятирублевая бумага. Теперь к осени надо курятник строить, а тут тебе заем подсовывают. Вот и вертись как хочешь... — досадливо бормотал Матвеевич.

— Хотя и плохой ты строитель, а наверное на заем подпишешься, — кинул в сторону Матвеевича Миша.

— Как сказать, кто из нас надежнее? Я здесь житель коренной, у меня свой дом... даже на кладбище весь род в одной яме зарыт... А вас и мертвых-то в разных краях раскидали...

— Ну, насчет дома ты брось, какой толк в нем... Теперь домищи с общественными столовыми и детскими площадками понастроены. Вот это да!.. — и он прищелкнул пальцами. — А о яме тебе рассуждать хорошо. Я на фронте в гражданскую войну был, а ты в тылу писарем отсиживался...

И эти небрежно бросаемые слова, как в детстве отцовские рэзги, жгли тело.

— Ну что из того, что я был писарем. От моей работы плохих впечатлений не осталось, есть документ — бумажка...

— Стой, стой, дружок, за бумажки не ныряй... Вот, к примеру, ты все время жалуешься, что молоко дорого. Поэтому ты решил обзавестись дойной козой. Недавно плакался, что огурцы дороги — посолить на зиму не придется. А вот когда записывались для отработки дня индустриализации, ты записаться-то записался, но работать в колхоз не пошел. Брось чужими боками отыгрываться и сразу поймешь, где плохо, где хорошо.

— Чужими-то боками ты мне не тычь. Я тоже работаю — вот уже два года за колодец деньги собираю...

— Эй, ты, ударник, не во-время шум поднял, — бросил в сторону Миши бухгалтер.

— Да, Евстигней Иванович, молчать никаких сил нехватает, поневоле поднимешь.



На заем Николаю Матвеевичу подписаться пришлось, потому что соседка по работе на соревнование вызвала. Не уступать же бабе. Остальная же жизнь не изменилась...

Вечерами он попрежнему выпивает рамки — решил ими украсить в спальне всю стену. И так же спокойно играет в карты „в козла“, „в дурака“. Надежда Яковлевна бегает по очередям,

меняет ситец, мыло, чулки на сметану и масло, и чем лучше барыши — хвалит советскую власть...

Но вдруг это годами сложившееся спокойствие растрепало, как осенний ветер — кучу пожелтевших листьев...

В один из дней Николай Матвеевич торопливо вошел в комнату, тяжело опустился на первый попавшийся стул и стал вытирать струившийся со лба пот.

Надежда Яковлевна никогда не видала его таким опустившимся и усталым. Невольное предчувствие чего-то недоброго охватило ее.

— Говори, не мучь, — мысленно спрашивала она, но повторить это громко боялась.

— Ведь, легко сказать, двадцать лет на этом месте прожили, трудов сколько положили, а тут — пожалуйста, — сказал он и начал расстегивать ворот рубашки.

Надежда Яковлевна почувствовала, что комната вместе с мужем завертелась и поплыла куда-то вдаль...

— Как они смеют! Разве мы их трогали?! — кричала она, едва справляясь с нахлынувшими слезами. Николай Матвеевич беспомощно топтался около нее и бормотал:

— Наденька, перестань... По плану такая вещь приключилась... Кабы не он, проклятый, вся бы жизнь протекла в этом гнездышке!.. Во весь квартал один дом построят...

— Ты должен протестовать, собрать всю улицу... Нам не надо их денег... Мы хотим жить, где нам хочется, а не где укажут... Это насилие.. Они не имеют права...

— Протестовать! — повторил он, и ему показалось, что он нашел что-то сильное и, надев фуражку, побежал к двери. На крыльце он запнулся за половику и стал расшнуровывать ботинок.

— Да я никак рехнулся, — испуганно проговорил он, тут ботинок непричем...

— Протестовать, протестовать... — повторил он еще раз и неожиданно почувствовал нелепость и бессилие этого слова.

„Их вызов чутко слушая,  
Цех встрепенулся, ожил.  
Из всех ударных лучшая —  
Бригада молодежи“.

Обдираю толстую, кованую из мягкой стали оправку. Станок идет на третьем шкиве без перебора; соответственно скорости вращения патрона движется по светлой, скользкой от масла станине каретка, впившись в сталь своим острым устойчивым оружием — резцом.

Как живая, вьется, пружинится стружка. Вот она, серая около жала резца, по мере удаления от режущего места синее до черноты, как червяк карабкается через стенки резца к солдатику, ищет себе свободного прохода и, найдя его, свисает с каретки к полу, дрожа и охлаждаясь, растягивается длинной пружинкой.

Я стою тут же, облокотившись на бабку, наблюдаю ход резца, дотрагиваюсь ладонью до слегка нагретых подшипников; вслушиваюсь в гул цеха; вращение шкивов и ход ремней создают звук, похожий на отдаленный шум падающей воды.

Внимательно слежу за резцом, чтобы он не взял лишнего. Резец доходит до нужного размера. Выключаю продольный ход, передвигаю каретку, включаю самоход, и резец, дымясь, побежал, снова беря окончательную стружку.

В этот момент с одновременно опущенной на мое плечо рукой я слышу голос:

— Дело, говоришь, идег?..

Оглядываюсь: мастер-планировщик Пудов. Жму руку. Он тут же на стульчике присаживается, глядит на оправку, на шести-миллиметровую стружку, и я уже по лицу угадываю его мысли: „станок нагружен“.

И все же он начинает говорить о том, что вот если бы с водой обтачивать, то стружку можно бы взять побольше и ход увеличить: производительность была бы выше.

— Водянок нет, — отвечаю.

— Водянок?.. Да-а, — тянет Пудов и, опуская лицо, сжимает губы.

И водянок на самом деле нет. То-есть, собственно, они есть, но никуда не годные, и несмотря на то, что они позарез нужны и даже обязательны (при работе без воды нагревается деталь, меньше стоит резец), несмотря на то, что токари друг у друга воруют их, никто не заботится изготовить новые, отремонтировать старые. И видят ведь это, и знают, и даже в приказе по заводу что-то об этом говорилось, и все же...

— Водянок?.. Да-а... Водянок нет. Но дело это поправимо. Есть предложение сделать к нескольким станкам один насос. Понял?..

Заводим разговор о том, что вот слишком много снимать приходится — металл гибнет; что оправки делать бы не из прутьев, а из кованных кусков, тогда бы не уходило так много материалов на стружку.

— А хорошая работа, — указываю на оправки.

— Да. У меня там, — говорит Пудов, — интересная работенка есть. Тебе дам. Ты не гонись за большими партиями: на маленьких научишься быстрее. Не будь вон как этот, — кивает он головой на проходящего мимо парня и уже кричит ему:

— Поди-ка сюда!.. Доделал?..

— Давно. Что там по десятку-то даете, — чуть ли не кричит парень.

— Во, видал?.. — обращаясь ко мне, говорит Пудов. — А ты знаешь, что маленькие партии — сложная и интересная работа?.. На них твой кругозор в токарном деле увеличивается...

— А зарабатываешь шиш, — рубит парень.

— Вот это вас и губит!.. Взгляды-то у вас больно примитивны. Чуть маленько подучился, поглядел, ручки вертеть умеешь, — и вали, запузыривай, гони до полтораста... Дальше вы свою квалификацию повышаете постольку, поскольку на передний план выступает заработок; остальное — мура.

— Тебя бы вот за...

— Мы работали, — перебивает планировщик. — Мы, брат, работали. Так вот.

И Пудов начинает рассказывать.



Водопадом шумит валовой цех, шаркают пилы слесарей, тонко звенькают молоточки браковщиков, набивающих клейма. Валовой цех — смешение множества станков разных систем. Вот стройными армейцами на параде, обливаясь белой, густой как молоко, фрезолью, выстроились фрезерные станки, зубцами фрезеров обдирая детали. Вразброс по всем углам приткнулись многосильные „пратт-витнеевцы“, маленькие, несложные „ижевцы“. Тут же у входа в обитой железом каморке, в которую „посторонним вход запрещен“, накаляется и синеет электросварка.

Цех полон жизни и напряжения.

И в этом ходе нужных, строго рассчитанных неизбежных движений не разглядеть при беглом осмотре болячек, нарывчиков, иногда созревающих до рождения прорывов. А всмотришься, вкопаешься внутрь цеха и увидишь в этом большом потоке разных людей, с разными, мало похожими друг на друга лицами, характерами, настроениями. Людей сотни, а у каждого своя, со всеми присущими ей особенностями жизнь, свой мирок.

...Злятся, брюзжат, ругаются токари...

Нажимают, потеют и ругаются снова...

Проходит месяц, другой, третий — жмут и... и заработок не дотягивается до полсотни...

- Не хоти-и-и-м...
- Даешь расценки!..

Есть не очень сложная маленькая — меньше спичечной коробки — деталька, видом своим похожая на крестик. Называется она „направляющая тяга“. Проходит она приличное количество операций:

- 1) подрезка,
- 2) сверловка,
- 3) развертывание,
- 4) обточка по верху,
- 5) обточка сосочков под резьбу,
- 6) нарезка резьбы,
- 7) раззильковка,
- 8) шлифовка.

Оценивалась эта работа в 16 копеек.

Деталь была нужна настолько, что ее заказчик буквально рвал из рук, а токари жали, потели, зарабатывали ничтожную сумму и делали из ста штук... 92 брака.

Техперсонал или не интересовался этой работой или был бессилён против ошеломляющего брака.

Администрация не рада была этой работе — ее хотелось сбегать куда-то, и случай представился. В корпусе ВАО в токарном отделе мало работы. ВАО запрашивает валовое:

— Работа есть?..

А валовой только этого и ждал.

— Работы?.. О, у нас работы сколько хочешь...

И валовой отдает часть злосчастной работы ВАО.

Пусть-де, мол, инструментальщики поломают мозги, они по квалификации выше нас.

ВАО, ничего не подозревая, взялся за тяги.

Тут и началось.



Их было двое.

Пудов Петр. Ему 25. Небольшой ростом, бледный, с втянутыми щеками, ежом торчащими волосами, дельный, любознательный. Пришел в токари из чернорабочих. Как обычно новичкам, дали ему простенькую, в роде подрезки, работу.

Запротестовал:

— Дайте мне работу в окончательную.

— Сможешь ли? — спрашивает мастер.

— Давай, — настаивал Пудов.

Работа сложная, с резьбой. Сделал не плохо. Наблюдал за работой лучших токарей, копался в книжках. Настойчивостью, смелостью, аккуратностью добился 4-го разряда.

А второй — краснощекий, шустрый Леонид Графский. Этому 21. Выпускник школы ФЗУ.

...Кряхтел, тряся своими подгнивающими связями старый цех. Пополз по цеху подправленный удивлением, любопытством,



недовольством, украшенный небылицами слушок о каких-то бригадах. Зашевелился комсомол с хозяйственным походом, наступили дни претворения в дело идеи Ленина, дни социалистического соревнования.

В цехе появилась первая ласточка: Графский и Пудов организовались в бригаду.

Многие с недоумением спрашивали:

— Как это так, в бригаду?.. Зачем?..

Ребята начали. Дело выходило кругло: работает Пудов первую смену, приходит Графский сменить его, и уж не надо делать перестановки в станке, как это приходилось в одиночку, а сейчас же зашпаривать так, как есть, доделывать оставшуюся работу.

Производительность резко скакнула вверх, а когда бригада решила распределить заработок поровну, в цехе опять зазююкали:

— Вот еще дурачье...

— Друг на дружку надеяться будут, — ничего и не выйдет.

— Ладно, — отмахивались от смеха ребята, — цыплят по осени считают.

— Молоды-зелены... Пыл... а он, как искра, в момент потухнет...

— Ничего... Нажмем, покажем, — бодрилась бригада и смеялась: „вот, мол, завирушку сделали“. Смеялись, а внутри скользило сомнение. Дело новое, невиданное, можно и в лужу сесть.



Цех перевели в новую мастерскую. Бригадников поставили на новый станок.

Тихо потрескивали резцы. Где-то гудит, шуршит моторчик, затачивая центры.

„Жмет“ шустрый фабзаучник Графский; ходит, копается в кладовке Пудов, подыскивая партию работы посложнее.

Первая робость за бригаду уже прошла. Ударный пример взбудоражил многих, и уже в цехе не одна бригада бьется за первенство.

Пудов ищет работу посложнее, посерьезнее, такую, чтоб на ней можно было поучиться и в то же время не только не отстать, а пионером этого дела быть, хорошим примером для других бригад.

Вот Пудов заметил работу. Снял ящик, просмотрел чертежи, подсчитал количество: 200 штук новой, небывалой еще в цехе работы.

Пудов к мастеру:

— Дайте-ка вот это...

Мастер Сергей Прокофьевич Филиппов, равнодушный работник своего цеха, ревнитель всяких новшеств, таращит глаза на безусого токаря.

— Тебе?.. Эту работу?.. — с большим удивлением спрашивает он и, улыбаясь, думает: „вот бездельник комедию ломает! Тут и старикам-то...“ и уходит, не дав согласия.

■

Пудов обтачивает фрезы. Колется, рассыпается стружка, — крепкая сталь не выдерживает нагрева.

Сзади в своем неизменном сером костюме мастер Филиппов.

— Придется, Петро, тебе, — мягко говорит он и смеется на этот раз уже над собой, над тем, что не миновал к молодым итти. — Семочкин и Маштаков отказались.

— Отка-з-а-лись?.. — удивленно тянет Пудов, зная Семочкина и Маштакова как хороших токарей. — Почему же?..

— Кто их знает!.. Не знаю... Возьмитесь вы, — замял Филиппов большое место.

Бригада взялась.

■

Приспособление было простое: в шпиндель вставляется конусная оправка, на оправку насаживается деталь и закрепляется шурупиком; таким образом, вся тяжесть крестика была навесу.

Уставили. Пустили станок — оправка выгнулась. Уставили еще раз, пустили, — деталь провернулась. Брак.

Ребята сокрушенно повесили головы:

— Врюхались...

Осторожно беря по 3-4 стружки, с большими трудностями закончила бригада эту работу в две недели. Из 200 штук — 28 брака. Заработали по 16 рублей.

В смысле брачности и это было огромным достижением по сравнению с валовым отделом, и все же Пудов, уходя во вторую смену, сказал Графскому:

— Ну, вот что, довольно! Больше эту работу не берем.

■

Бежали дни в горячей работе, в спорах, перекорах, в борьбе за первенство бригад.

Графский работает первую смену.

Вспоминает школьные дни во ФЗУ, первые робкие шаги самостоятельной работы на станке, злые шутки и насмешки некоторых рабочих.

— Гляди, робя, „хватъзаух“ и нам пришел, — и кидая в его сторону стружку, добавляли:

— Резец-то сгорит, ты хоть соплями его охлаждай...

Хороня обиды, Графский делал свое. Осмелел немножко, свыкся, получил 4-й разряд. Смеяться перестали.

И все же еще чувствовал себя учеником, побаивался администрации, и когда опять принесли 800 штук направляющих тяг, — не смог отказаться.

Пришел на смену Пудов.

— Петь!.. Я того... — начал бессвязно Графский... — Работу дали...

— Что-о?! — протянул ошарашенный Пудов.

— Крестики... 800 штук...

— И ты взял?!

— Силком взвалили...

— Эх, ты!.. — и никогда не ругавшийся Пудов кройнул матом. Подняли бузу, категорически отказались. В цех прилетел директор, инженер Симанович, всполошили цеховую администрацию, дали ей нагоняй за слабую дисциплину, кой-кого из мастеров чуть-было не сократили.

Вопрос поставили прямо:

— Делать, или за ворота...



Шумит цех. Скрежещут наждаки, фейерверком отбрасывая искры. Токари точат резцы, кипит работа.

Понуро стоит около станка Графский. Впервые покаялся, что пошел в токари...

На верстаке с карандашом в руке сидит Пудов. Расценки на 6 копеек повысили, но это не меняет дела.

Подходит Графский.

— Чего уж тут! Раз надо, то надо. Тех, кто отказывается от работы на черную доску!

Пудов молчит. Думая о чем-то, глядит на карандаш, произвольно чертящий что-то на фанере, и вдруг привскакивает и крепко сжимает плечи Графского:

— Леонид, а если...

Несется к мастеру.

— Сергей Прокофьевич... Я тут вот приспособление выдумал.

— Приспособление?.. — у мастера загорается ревность. —

Ну, ну...

— Мы делаем вот такую штуку, — чертит Пудов эскиз на бумаге, — в стержень этого приспособления вставляется деталь, зажимаем центрами и... — Пудов глядит на Графского, потом переводит глаза на мастера, заливаясь смехом... — и запузыривай!..

Мастер осекает:

— Ничего не выйдет!

— Не выйдет?..

— Не выйдет. Деталь ползет на резец.

— Как на резец?.. А-а-а... — минута тягостного молчания. —

А если мы, — опять оживляется Пудов, — вот здесь болтик закрепляющий?..

— Болтик?.. Сюда вот?.. Это верно. Пожалуй, так выйдет.

— Так мы начнем делать...

У мастера пылает ревность.

— Я сам...

■

— Ничего не выйдет.

На этот раз уже Пудов говорит мастеру, глядя, как тот примеривает кусок железа.

— Почему?..

— У вас размер сомнительный. Да и делать надо не из целого куска, а из составного — проще и скорее.

— Тогда ты сам, — соглашается мастер и тут же спешит предупредить: — Только вот что, — ты и работу - то сам делай, а то Графский молод, неопытен еще, напортить может.

— Выходит, что надо бригаду разваливать? Нет, не годится, — резонно отмахивается от предложения мастера Пудов, — я ему помогу. — И весело добавляет: — Медведей учат. Понял?..

Уставили, пустили. Сначала остороженько, по несколько стружек, потом, когда приспособление выдержало испытание, начали обтачивать в одну стружку.

Дошла весть до токарей валового отдела.

— Инструментальщики приспособление изобрели..

Любопытные пришли в ВИО. Не понимая еще секрета изобретения, ехидно посмеивались:

— Ну, теперь заработают копеечку с коньком.

Бригадники сдерживали радость.

800 штук выбросили готовыми. Брака ни одного процента.

Но и этого было мало. Работу хотелось довести до совершенства.

Когда дали новую партию — 2000 штук, к старшему мастеру Глязеру пошли посоветоваться об изжитии последних неудобств в работе.

— Не ладно у нас выходит. Как нам концы крестика урезать?..

— Э-э, очень просто... — легкомысленно воскликнул Глязер, — возьмите шипчики, обстригите их, обкусите, а потом пилкой подчистите.

Ребят ответ не удовлетворил. Поломав мозги, сделали второе приспособление.

Бригада нажимала. Заработок дошел до 200. Приспособление передали в валовой отдел. Производительность поднялась на шестьсот процентов.

■

Комсомол организовал конкурс на лучшего производственника. Графский получил вторую премию: готовальню и книги. Пудов — первую: поездка в Ленинград за счет завода.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Записки рабфаковца. Виктор Полторацкий . . . . .	3
На торфе. Отрывки из поэмы „Энергетика“. Сергей Котляев . . . . .	28
Стихи о ремонте. Личное. Стихи А. Блатова . . . . .	32
Вторая весна. Михаил Шошин . . . . .	36
Колхоз „Герой“. Михаил Шошин . . . . .	49
Кирпичи. Стихи Ник. Говоркова . . . . .	62
Стихи о лесу. Иван Чугев . . . . .	64
Тугаевский ден. Очерк Дм. Белова . . . . .	66
Дфицвантка. Стихи Вл. Новожилова . . . . .	84
Сливняки. Этюд Ольги Груздевой . . . . .	85
Портрет. Очерк Евгения Курякова . . . . .	90

Блант № 2635. Тираж 2000 экз. 3 бум. л. 62×94 см. Плотн. 100. 352 печ. зн-  
ков № 213. Изв. X-23. Заказ № 313. Сдано в набор 1 ноября 1931 г. Подписано  
к печати 14 января 1932 г.

Редакция: В. Полторацкий, М. Шошин, П. Бекманский, А. Блатов, Е. Кузнецова.  
Техническое оформление и обложка Ф. И. Сухова.

219

Цена 1 руб.

ОТКАЗ ПОСЛА  
МОСКВА  
СЕРИЯ

1932

